

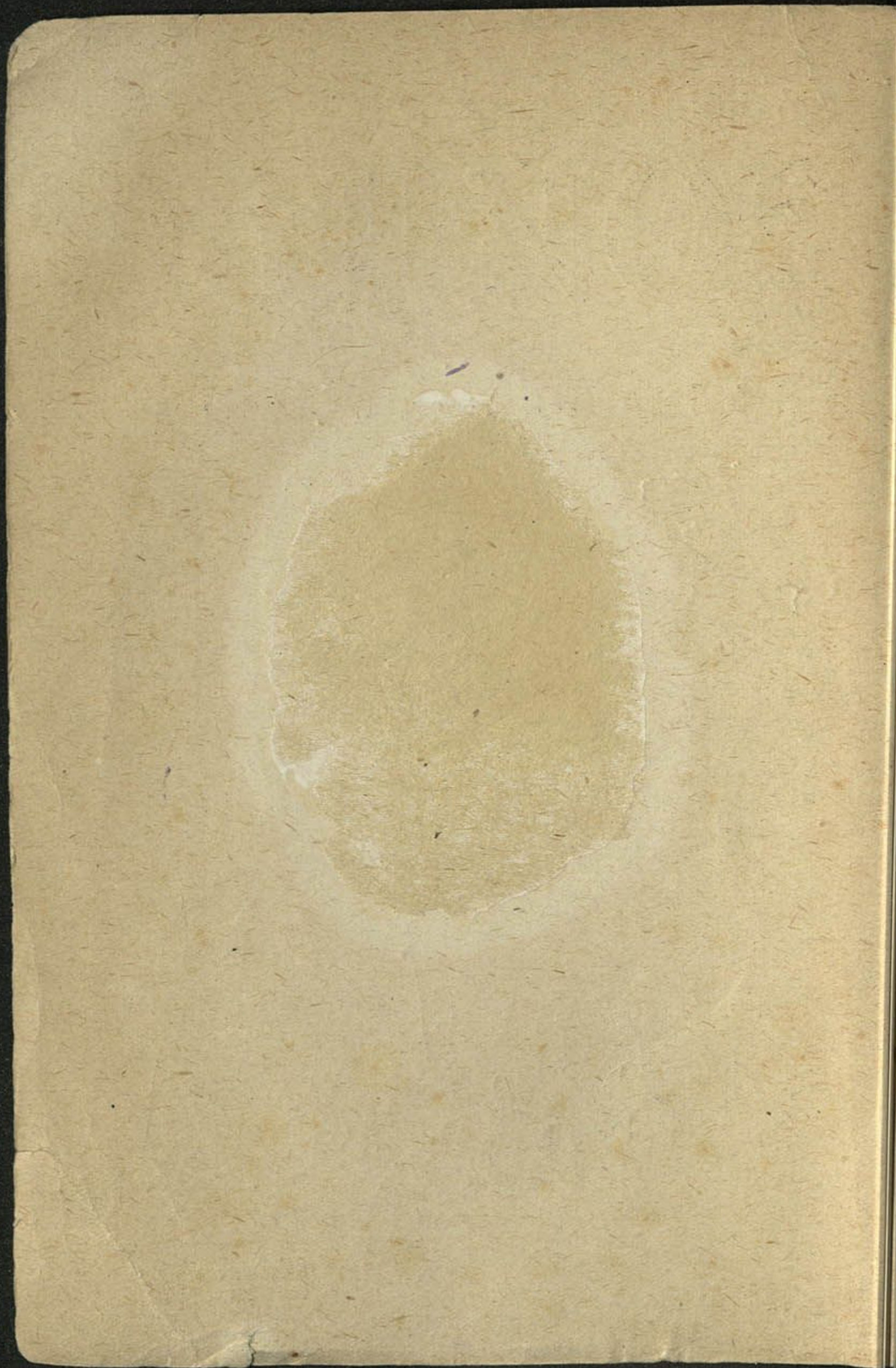
Ба 25699

БОЙЦЫ

А Л Ь М А Н А Х П Е Р В Ы Й



Издательство БВО
МИНСК — 1935



Ба 25699

A-57

БОЙЦЫ

АЛЬМАНАХ ПЕРВЫЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ~~А.И. КОВАЛЕВ~~ ~~А.И. КОВАЛЕВ~~



ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКОЙ ВАЕННОЙ АКРУГИ
МЕНСК * 1935

21664
ИВ. 1953 г. БА 25699
Бел. аддзел
1994 г. 2

25. 6. 2009

25. 6. 2009

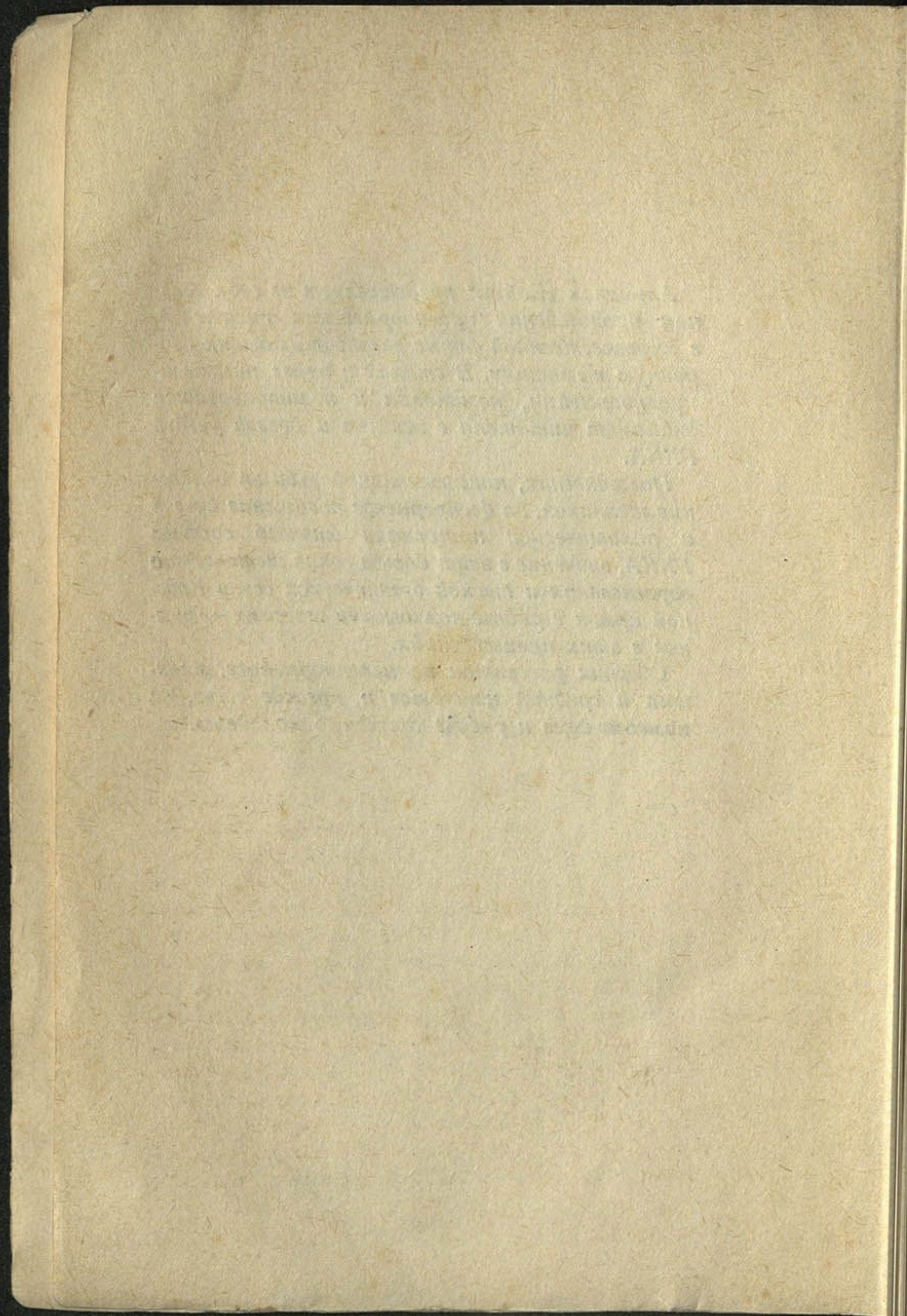
25. 6. 2009

25. 6. 2009

Альманах „Бойцы“ представляет из себя сборник произведений красноармейских писателей, в художественной форме разрабатывающих оборонную тематику. В стихах и прозе писатели-красноармейцы, командиры и политработники знакомят читателя с жизнью и боевой учебой РККА.

Повседневная, напряженная борьба за овладение техникой, за непрерывное повышение боевой и политической подготовки личного состава РККА, значение в этой борьбе социалистического соревнования и тесной органической связи Красной армии с рабоче-колхозными массами—основное в этих произведениях.

Сборник рассчитан на красноармейцев, младший и средний начсостав и, прежде всего, на комсомольцев и рабоче-колхозную молодежь.



А. П. СМЕРНОВ

Начальник Политуправления БВО

ЗА БОЕВУЮ ОБОРОННУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Уровень нашей художественной литературы и по об'ему, и по качеству, и по наличию кадров—людей, вышедших из рабочих и крестьян, людей нашего класса, которые работают на поприще литературы, сейчас уже настолько высок, что в жизни, в борьбе, которую мы ведем, художественная литература занимает видное место. И даже у нас, в деле боевой и политической подготовки частей округа, те успехи, которые мы имеем, которые позволяют нашим частям выйти на уровень передовых, а нашему округу во многом быть ведущим округом,—безусловно большую роль сыграла наша печать, художественная литература, в том числе вклад в нее красноармейских писателей.

И когда мы приступили к работе по боевой и политической подготовке в текущем году, мы наиболее организованным, наиболее передовым людям из красноармейцев, комсомольцам нашим, наряду с целым рядом задач по боевой и политической подготовке, по повышению общеобразовательного уровня, прямо поставили приказом РВС задачу прочесть определенные произведения художественной литературы, чтобы расширить их политический уровень, политический кругозор и тем самым помочь дальнейшему повышению боевой и политической подготовки. Это еще, собственно, первый случай, когда приказом РВС округа ставится задача по изучению комсомольцами художественной литературы и воспитанию бойца-комсомольца на ее образцах. Мы включили в перечень рекомендованной литературы наиболее передовые произведения, наиболее выдающихся писателей: „Мать“ Горького, „Поднятая целина“ Шолохова,

„Бруски“ Панферова, „Чапаев“ и „Мятеж“ Фурманова, „Железный поток“ Серафимовича, „Цусима“ Новикова-Прибоя и др.

Какие цели должна преследовать художественная литература в наших условиях? Это—подъем общекультурного роста командного, политического и красноармейского состава, укрепление его классового сознания, способствование успешному решению задач боевой и политической подготовки и росту литературных сил из нашего народа—рабочих и крестьян, призванных в армию. В этом свете приобретает особо важное значение оборонная литература.

Когда говорят об оборонной литературе, нередко придают ей несколько узковатое значение. Оборонная литература выходит далеко за пределы; если можно так выразиться, военно-ведомственной литературы. Если вдуматься, на каком этапе борьбы мы сейчас находимся, то станет совершенно ясным, что освобождения человечества просто уговорами, пропагандой или распространением пацифистской болтовни мы не получим. Освобождение это нужно брать с бою. Буржуазия не уступит нам добровольно власти, будет драться за нее, применяя все меры и пуская в ход разные приемы классовой борьбы. Опыт борьбы у нас, в Китае, в Германии подтверждает это. Так что, если мы по-серьезному хотим бороться, если по-серьезному хотим построить новое социалистическое общество,—а мы этого хотим,—то мы должны людям нашего класса—рабочим, широким массам трудящихся показать пути и способы борьбы за свое освобождение; а наиболее решительный и радикальный путь, это—путь вооруженного восстания.

Значит, если подойти с этой точки зрения к оценке роли и значения оборонной литературы, т. е., литературы, воспитывающей боевика-революционера, указывающей пути борьбы с классовым врагом, то неизбежно придешь к выводу, что эта литература по своей тематике и содержанию выходит далеко за пределы ведомственной литературы, является наиболее передовой в литературном движении рабочего класса и трудящихся. Мы не рассматриваем литературу отвлеченно, только как средство для удовлетворения культурных потребностей человечества, а рассматриваем ее, как одно из средств классовой борьбы, и с этой точки зрения люди, работающие в области оборонной литературы, являются, несомненно, передовыми и наиболее почетными классовыми бойцами. Вот почему нам нужно

в работу по созданию и развитию оборонной литературы включить более широкий круг людей: не только собственно военных людей, людей, органически связанных с армией, но и вообще людей, работающих в области художественной литературы, воспитать в них сознание, что оборонная художественная литература является наиболее ударным участком литературного фронта.

Что нам надо с точки зрения потребителя, заказчика, предъявить к людям, которые работают на этом участке литературного фронта? Начнем с малого.

Нам надо дать хорошую, бодрую красноармейскую песню, бодрый революционный гимн, с которым можно было бы проводить наши учебные дни, идти в бой. Маловато еще у нас таких песен и гимнов, и мы очень часто поем старые отсталые песни. Хорошей, бодрящей, веселящей массы песни мы почти еще не имеем. А такие бодрящие песни имеют громадное значение в деле сплочения боевого коллектива. Писатели вступили на путь создания таких песен, и недавно в „Красной звезде“ даны результаты конкурса песен. Так что лед уже тронулся, пошел, но подвигается он еще медленно.

Второе, что нам надо,—это боевые для нашей красноармейской самодеятельности, воспитывающие бойцов в том направлении, о котором я только что говорил, произведения. У нас нередко красноармеец обходится продукцией своего творчества, часто очень примитивной. Выступают сами красноармейцы с задором, хорошо. Иногда смотришь и слушаешь их лучше, чем профессионалов-артистов, потому что сердце их ближе к аудитории. И если дать красноармейцам хорошие, боевые, художественные произведения, которые они могли бы использовать в своей самодеятельности, то это будет чрезвычайно ценным вкладом в дело их воспитания.

Нам нужна и большая книга, показывающая жизнь армии в целом, постоянное укрепление обороноспособности Советского союза.

На чем сосредоточить главное внимание оборонной литературы?

Главное внимание, безусловно, должно быть сосредоточено на переделке человека, выработке социалистического типа человека. И тут действительно надо понять особенности нашей классовой борьбы на том этапе, на котором мы находимся. Сейчас действительно классовая борьба приобрела чрезвычайно

многообразные, сложные формы. Другой раз она переплетается такими сложными кружевами, что часто рядовой человек не может разобраться в ней. Надо помочь ему разобраться, где плохо, где хорошо, против чего и за что надо сейчас бороться с особенной настойчивостью и упорством. Особенно должны сделать это литераторы, люди более культурные, более политически грамотные, более наблюдательные, ведь литераторы наблюдают жизнь, собирают и обобщают опыт и через книгу передают его читательской массе.

Сейчас нередко контрреволюция, фигурально выражаясь, сидит в нас самих, в нашей психологии, быту, в отношении к труду, к дисциплине, в наших привычках, взаимоотношениях, в конфликтах между индивидуумом и коллективом. Конфликт собственнической души с коллективом — это неизжитое еще наследство старого капиталистического общества, и многие еще из нас покрыты коростой, наростами прошлого. Часто человек не замечает, что наследство это находит отражение в его деятельности.

Один раз я приехал в часть, зашел на конюшню, чтобы посмотреть, как содержатся лошади, и нашел дело в очень плохом состоянии. Созвал собрание командного и политического состава и спрашиваю:

— Читали вы „Поднятую целину“ Михаила Шолохова?

— Читали.

— Помните там завхоза Якова Островнова, как он ухаживал за быками, строил конюшни, частенько сыпал их песочком, но подстилочек никакой не делал? Быки простуживались или хвосты у них примерзали к полу. И делал это Яков Островнов — типичный кулак, заведующий хозяйством, по наущению контрреволюционера, штабс-капитана Половцева. Как вы думаете, что с ним надо сделать, с таким типом, как Островнов? Ведь это контрреволюционер!

Наши командиры и политработники говорят:

— Надо расстрелять.

— Правильно, — говорю, — такую сволочь надо расстрелять. А что надо сделать с деревенским коммунистом, который ходил и не видел, что это вредительство?

Говорят: „Надо исключить из партии и привлечь к уголовной ответственности“.

Тоже правильно, — говорю. — Ну, иногда с трактором не спра-

вляются, это еще понятно—машины на полях недавно, но как ухаживать за скотом—деревенские люди знают, и потому каждый должен нести ответственность за содержание лошадей, если даже это и не является его непосредственной обязанностью, раз он видит безобразие в конюшне, в уходе за лошадьми и ничего не предпринимает, чтобы устранить это безобразие.

Вот мы здесь,—говорю я собравшимся, — расстреляли Якова Островнова и поговорили о других, а состояние конюшни у вас не лучше, чем у Островнова—и света, и подстилки нет. Как это у вас, у командиров Красной армии, выходит, что вы, коммунисты, большевики, ходите мимо конюшни и не замечаете этого? А выходит это потому, что многие еще из начсостава думают: „Я отвечаю только за пулеметы, а за конюшню ответственности не несу“. Рассуждая так, они поступают, как чиновники.

Так вот, товарищи, когда человек видит такое отношение к делу в зеркале литературы, когда ему показывают, что это делается по наущению контрреволюционера штабс-капитана, то он понимает, что это вредительство. Когда же он сам допускает подобное отношение к делу, к выполнению своих обязанностей, то никакого вредительства здесь не замечает. Правда, делает это он из других побуждений, чем делал Яков Островнов по наущению штабс-капитана Половцева в „Поднятой целине“, делает по неосознанности, по нерадивости, потому, что в нем еще много пережитков старого капиталистического мира, потому, что он еще не воспитал в себе социалистического отношения к делу. Вот почему важнейшая задача нашей художественной литературы—это способствование социалистической переделке человека, воспитание в нем социалистического отношения к труду.

Я немножко следил за работой совещания по оборонной литературе в Москве. Там поднимался вопрос о том, что в нашей действительности нет социальных предпосылок для завязки классовых конфликтов, могущих служить материалом для оборонной литературы, что в армии, мол, нет резких антагонизмов, а поэтому, мол, и писать о ней труднее. Безусловно, кулаков у нас в армии нет, а если случайно и затешется какой, вышибем. Но значит ли это, что у нас нет богатейшего материала для писателя, посвятившего себя разработке оборонной тема-

тики? Конечно, не значит. В армии есть и более и менее воспитанные, есть передовики и отстающие. Вот в этом и надо искать завязку.

Показывайте передовых людей Красной армии, учите на образцах их работы, их социалистического отношения к труду остальных, помогайте отстающим выравниваться по передовикам, подстегивайте нерадивых. Это будет хорошо, это будет способствовать вооружению бойцов Красной армии классовым сознанием, пониманием жизни, по-настоящему вооружит их для борьбы против разгромленного, но далеко еще недобитого классового врага, для классовой борьбы на современном этапе, имеющем свои специфические особенности.

Я езжу по частям, вижу много людей. Сколько среди них прекрасных, замечательных товарищей! Вот танкисты, мотористы, техники, командиры, красноармейцы. Они не только осваивают данную им сложнейшую технику, но в процессе освоения совершенствуют ее, и танк, выпущенный заводом, в руках танкистов превращается в нечто новое, имеющее совершенно другие технические и тактические свойства. Он перелезает через болота, проходит через реки, каналы... Идет огромный процесс коллективного творчества в области усовершенствования техники, и сколько тут всяких сложнейших переживаний, напряженной борьбы, успехов и неудач, трагедий! Разве это не богатейший материал, на котором писатель может учить и воспитывать тысячи, десятки, сотни тысяч людей?

А какая гордость достижениями своего колхоза, какая любовь к своему колхозу! В одной из дивизий захожу в клуб, подбегает командир взвода и докладывает:

„Товарищ начальник, группа нацменов занимается политзанятиями“.

— Что за нацмены?—говорю,— красноармейцы, наши бойцы, а не нацмены.

Обращаюсь к одному из занимающихся. Тот говорит: Я—татарин, из колхоза, колхоз передовым идет по району.

— Сколько ты на трудовень заработал?

— Шесть кило.

Говорю командиру взвода: вот смотри, как человек подымается. Татария, которая была поставщиком сезонных рабочих, сейчас подымает его сознание, он нашел свое место в системе народного хозяйства, строит новую колхозную жизнь, зарабаты-

вает шесть кило в каждый трудовой день, а ты—нацмен... Не нацмен, а боец нашей рабоче-крестьянской Красной армии.

В это время подбегает другой красноармеец, тоже татарин, и говорит:

— А наша двенадцать кило заработал.

И нужно было видеть лицо этого красноармейца, когда он говорил: „двенадцать кило“, чтобы понять, как дорожит он своим колхозом, как любит его, как гордится им! Разве это не прекрасный материал для писателя, для создания художественных произведений?

Есть у нас прекрасный материал, прекрасные люди, а среди них—самые настоящие герои. Вот, например, в N-ской дивизии комсомольцы добровольно вызвались идти на пятикилометровый кросс. Дождь пошел. Я побоялся за комсомольцев; говорю: „Можно бы подождать. Во всяком случае идти исключительно в добровольном порядке“. Командир объявил: „Кто не хочет бежать в кросс, может уйти“. Только три человека ушло, и то больные, а остальные пошли и бежали пять километров. Надо было видеть их страстное стремление преодолеть это расстояние в максимально короткое время.

Другой случай, когда шли красноармейцы на двадцатипятикилометровый переход. Жара была невыносимая, и вот одна смена идет, другая... Финиш близко. Нужно напрячь все силы. Один командир отделения уже в полуобморочном состоянии. Товарищ заметил это и говорит ему: „ползи“, и тот с чрезвычайным напряжением дополз до финиша и здесь упал в обморок. Его там облили водой, выходили. Я следил за всем этим и видел, сколько было проявлено здесь любви к товарищу и заботы о том, чтобы он не отстал и тем самым не подвел других, чтобы он скорее очнулся и пришел в себя. Ведь он командир и он выполнил свой долг: довел отделение до финиша.

Командир отделения выполнил стоящую перед ним задачу и был горд этим, тем более, что это стоило ему большого напряжения. И я подумал: какая сила воли, какое высокое сознание долга у этого отделенного командира, который полностью исчерпал силы своего организма и все-таки довел отделение до финиша!

Видел я на стрельбе и такие картины, когда стрелок, не выполнивший упражнения, трясется и не идет в лагерь. Приходилось уговаривать. Вы думаете, он боится? Нет, ему совестно, что подвел других.

Мы имеем в повседневной учебе массу примеров исключительной самоотверженности наших бойцов. Например, вчера в N-ской дивизии я видел, как отделенный командир, средний командир и рядовой колхозник Костюченко, подбадривая ослабевших, несли один—две, другой—три винтовки. И все это не единичные случаи, не единичные отдельные факты.

Но наряду с этим есть у нас и отдельные плохие люди, творящие безобразия. Например, ветеринарный врач в N-ском арtpолку. Зашел я в ветеринарный лазарет. Знаете, седло такое, что если наложить на лошадь, то немедленно натрешь ей спину. Так вот такое седло и у лошади врача. Здесь мы имеем факт нерадивого отношения к делу, к своим обязанностям. А руководители не всегда смотрят за такими вещами так, как следовало бы, парт-организация нередко относится к ним делячески, беззубо, не ведет большевистской борьбы с этими безобразиями, не воспитывает в людях социалистического отношения к труду.

Таким образом у нас наряду с прекрасными образцами самоотверженной большевистской работы, социалистического отношения к труду, есть, к сожалению, и примеры недопустимо плохой работы, мешающие нам успешно двигаться вперед; мешающие укреплять нашу Красную армию, обороноспособность нашей социалистической родины. И вот тут широчайшее поприще для наших революционных писателей, особенно писателей, вышедших из среды Красной армии, хорошо знающих ее жизнь, ее быт и работу. Своими произведениями, ярко отражающими напряженную борьбу Красной армии за овладение высотами боевой и политической подготовки, за укрепление боевой мощи РККА и обороноспособности нашей страны, они могут и должны помогать нам по-настоящему воспитывать воина-революционера, действительно классово-сознательного человека.

Такое содержание, направление, по-моему, должно быть в нашей художественной литературе—социалистическая перековка человека. Но вот возьмем последнее произведение Ромашева „Бойцы“ (я смотрел его в театре Красной армии, мне много о нем рассказывали). Я пошел в театр, чтобы посмотреть эту вещь, и ушел, не выдержал. Я настойчиво хотел заставить себя смотреть, но мне было скучно, потому что автор говорит о людях, которые сейчас уже меня не интересуют. Автор опоздал. Несмотря на то, что он показывал хороших людей, это меня не

учило, не заражало. Тов. Ромашев с задачей не справился. Ведь художественное произведение не только должно отражать историю нашего движения, но и вооружать, звать вперед, прокладывать дорогу к будущему. Дать такое произведение не так легко, для этого нужно много работать, воспитывать в себе не только умение понимать жизнь, видеть ее движущие пружины, но и умение художественно обобщать то, что видишь (среду людей, о которых пишешь, их борьбу за успехи социализма, достижения, победы, радости, неудачи и страдания). Все это обязывает писателя к очень большой работе над собой.

Несколько замечаний о требованиях к содержанию художественных произведений. Нам надо воспитывать классовую бдительность и ненависть к классовому врагу, особенно в нашей молодежи, такую неослабную, настоящую, большевистскую ненависть. Ведь очень нередки случаи, когда мы проявляем совершенно недопустимое добродушие, мягкость. Чуть отлегло, и мы мякнем. А в теперешней обстановке, в обстановке ожесточенной классовой борьбы, когда разбитый, но не добитый еще окончательно, враг хватается за крайние средства борьбы—террор, убийства из-за угла, мы не имеем права распускаться. Ослабление классовой бдительности уже привело нас к утрате одного из лучших наших вождей, С. М. Кирова. Отсюда надо сделать соответствующие выводы и зорко следить за врагом, непрерывно повышая свою классовую бдительность. Наш враг очень крепко ненавидит нас. Достаточно вспомнить буржуазного генерала Гревса, командующего американской экспедицией войск на Дальнем Востоке. В своей книге „Американская авантюра в Сибири“ он описывает одного молодого офицера, очевидно, из интеллигентов (не из крупной буржуазии, а из демократических интеллигентов). Японцы там зверствовали, их карательные экспедиции чинили кровавые расправы над трудящимися. Гревс послал этого офицера, чтобы проверить факты и жалобы на бесчинства японцев. Когда этот офицер увидел повешенных крестьян с распоротыми животами, изуродованные трупы и куски мяса, то на него, как на человека из мещанско-буржуазной среды, это произвело очень сильное впечатление, и он сказал генералу: „Генерал, я прошу вас, никогда не давайте мне больше такого поручения. Еще минута—и я сбросил бы свой мундир и остался бы с этими несчастными, чтобы сделать для них все, что только было в моих силах“.

Это описывает генерал Гревс, который сам приезжал в нашу страну не для экскурсии, а с войсками, помогать бить восставших рабочих и крестьян в России. Но это цветочки. В Финляндии расстреляли 40 тысяч красногвардейцев. А сколько расстреляно рабочих и крестьян в Саратове и в Новороссийске! А примеры Парижской коммуны, когда разъяренные барыньки зонтиками выкалывали глаза раненым коммунарам, когда расстреливали маленьких детей коммунаров. А текущие события, разве они не дают нам все новых свидетельств звериной ненависти буржуазии ко всему передовому, прогрессивному, ко всему, что борется за лучшее будущее трудящихся?

Нам нужно сейчас обязательно воспитывать у трудящихся, особенно у нашей молодежи, классовую бдительность и классовую ненависть к врагу. Бдительность и ненависть нужны нам не для мести, а для борьбы за освобождение всего человечества от гнета капитализма. Они делают нас более стойкими в нашей победоносной борьбе за социализм.

Воспитание классовой бдительности и классовой ненависти к врагу—одна из важнейших задач художественной литературы. Со всеми силами художественного мастерства надо показать, как классовый враг наш, движимый узкоэгоистическими интересами, режет, стреляет из-за угла лучших наших людей, людей с горячим сердцем, с широкой душой, всегда готовых жертвовать собой за дело трудящихся. Именно этих людей уничтожает классовый враг, защищая свои собственнические интересы.

Но мало написать высоко художественное произведение, отвечающее вышеизложенным требованиям. Надо протолкнуть это произведение в красноармейскую массу, надо научить красноармейцев, командиров, политработников видеть за каждым произведением его автора. В этих целях нужно, чтобы красноармеец видел живого писателя, чтобы перед ним была не только книга в хорошем переплете, а чтобы он знал, что она написана высоко культурным человеком, обладающим большим жизненным опытом, которым он делится через книгу с читателем, учит его, как лучше бороться за дело трудящихся.

Каково состояние нашего литературного движения в нашем округе? Следует сказать, что в ряде вопросов мы действительно, не хвастаясь, стоим на уровне передовых. Можем ли мы это же сказать о нашем литературном движении? К сожалению; нет

У нас есть отдельные хорошие писатели. Но не все они выявлены нами, не все организованы, и в этом виноваты мы.

Работа писательского коллектива во многом идет стихийно, неорганизованно. А работа эта особенно требует организационного воздействия и влияния партии. Как видите, дела обстоят так, что пошевелиться, и как следует, не мешает и самим писателям, и их организаторам.

Перед армией писателей надо ставить определенные задачи, помогать им нащупывать наиболее отвечающую запросам сегодняшнего дня тематику, определять правильное направление их работы, словом, надо руководить работой писателей, и здесь большую роль должна сыграть наша окружная газета „Красноармейская правда“, ее редакция. Надо помочь ей справиться с этой ролью, крепче увязаться с нашими писателями, сплотить их вокруг себя, возглавить и повести объединения красноармейских писателей Западной области и БССР в борьбу за высококачественную оборонную литературу.

Закончившееся совещание красноармейских писателей БВО должно послужить трамплином для того, чтобы сделать дальнейший высококачественный прыжок к улучшению работы красноармейских писателей, чтобы добиться еще большего эффекта в боевой и политической подготовке войск БВО на страх нашим врагам.

ПРОЩАНИЕ ДРУЗЕЙ

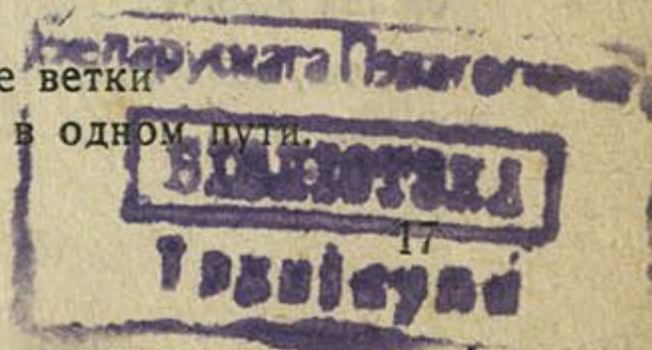
Поезд
в вокзал многолюдный
врезался,
дрогнул
и стих.
Трудно, Сережа,
трудно
слово сказать—
прости.
Просто
обидно как-то:—
жили семьей
и вот...
По разным дорогам-трактам
новый шагает год.
Путь мой—
овсами и рожью,
дома колхоз меня ждет.
Путь мой—лежит в Запорожье,
твой—
под Москву, на завод.
Крепко
армейская служба
нашу спаяла жизнь.
Наша хранила дружба
ночью и днем
рубежи.
Помнишь,
тот вечер,
у „Вала“

несли мы с тобой наряд.
На западе
зверем алым
ложился к земле закат.
В лапах заката
минутами
день умирающий гас.
С запада
тенью окутанный
шел нарушитель на нас.
Шагом он шел
вороватым,
ощупью,
словно впотьмах.
Две опояски заката
играли на маузерах.
Лес,
как сообщник верный,
чуть шелестел листвою.
Врезался в шорох вечерний
окрик наш грозный:
— Стой!
(верно шпион проклятый)
Стой!
Не беги!
Ложись!
Две опояски заката
блеснули
и взорвались.
От выстрелов лес зааукал.

Стой твой
и снова тишь,
стой твой —
и снова ни звука.
Врешь,
не уйдешь, гадюка.
Сволочь!.. Бежать?!
Не сбежишь...
Вдруг,
обернувшись круто,
он маузер вскинул в упор —
жуткая эта минута
памятна до сих пор.
Десять шагов до бандита.
Над ухом пронесся свист...
К ногам моим
с ветки сбитый
медленно падал лист.
Медленно,
грустно,
неловко,
падало тело в кусты...
Это
в него из винтовки
выстрелил раненый ты.
Конечно,
такого факта
и ты не забудешь,
но вот...
По разным дорогам-трактам
новый шагает год.
— А ну тебя, Петя,
допустим,
привычка свое берет.
Но разве с такою грустью
новый встречают год?
Крепко
армейская служба
нашу спаяла жизнь.
Наша хранила дружба

ночью и днем
рубежи.
Но разве
в хозяйственном плане
друг друга утратим след?
Разве дружить перестанем?
Нет, дорогой мой,
нет!
Жизнь не убавит ходу.
Встретимся, Петя,
постой:
ты
в перекличках заводов
голос услышишь мой.
Я,
завернув с работы
в клуб свой,
в кругу ребят,
читая колхозные сводки,
буду читать про тебя.
А может быть встретятся,
Петя,
(но это, конечно, мечты)
портреты
в центральной газете —
ударники —
я и ты.
А может —
повеет шквалом.
Оставим завод и рожь
и встретимся снова
у „Вала“.
А если не встретимся,
что-ж?
Значит
в конце пятилетки
(вновь стороной не пройти)
наши
дорожные ветки
сойдутся в одном пути.

21664



ПЕСНЯ О КОМАНДИРЕ ЛЕМЕХЕ

Это было
майской ночью,
синей ночью... Эх!..
Из-за гор
седыми клочьями
плыли тучи вверх.

Белый пар
по-над травую
стлался впереди.
Той порой,
порой ночью
ехал командир.

Что-б врага
ударить метко,
банду белых... Эх!
Шел с конем своим
в разведку
командир Лемех.

Поравнялся
с лесом темным,
а опушка вдруг
смехом,
топотом неровным
ожила вокруг.

Ой, ты, конь мой,
чуешь горе?

Выручай, брат! Эх!
Повернул коня,
пришпорил
командир Лемех.

Вслед рванулся
топот градом.
— Стой! Ворочай руль!
Три бандита
пали рядом
от горячих пуль.

Три бандита
влево, вправо,
закачались. Эх!
Мчится банда
дикой лавой...
Не уйти, Лемех!

Два патрона в барабане,
еще раз—
огонь.

Пулей вражьей
в ногу ранен
под Лемехом конь.

Не отдамся
на потеху.
Дуло к сердцу. Эх!
Только слышится

Лемеху
сзади злобный смех.
Ой, прости,
земля родная!
Тучи из-за гор.
И последний раз
стреляет

по врагу в упор.
Смяли тело,
рвали в клочья,
рвали клочья. Эх!
Так погиб
весенней ночью
командир Лемех.

АТАКА ПОВАРОВ

Вторая рота получила приказание остановиться на опушке леса и задержать двигавшегося к переправе „противника“. Разведка прислала донесение, что „противник“ сосредоточился у деревни, на правом берегу реки и производит какие-то спешные работы.

Командир роты, крепыш среднего роста с маленькими белокурыми усиками, сидел на широком пне и рассматривал карту. Синие кружочки, отмечавшие сосредоточение сил „противника“, теснились к реке. Вывод напрашивался сам собою—переправа. Но где? Для постороннего глаза карта—только разрисованный лист бумаги, а опытный глаз командира уже заметил, что в том месте, где лесок спускался языком к реке, а на другой стороне снова разрастался в лесной массив, горизонтали круто опадали в сторону течения реки, это первое. Второе—обычно болотистые берега реки здесь были сухими и с песчаными буграми—так рассказывала карта. И третье—пожалуй, самое главное,—пунктирная линейка, выбегавшая из лесного языка, обрывалась у реки и снова, начинаясь на том берегу, бежала до деревни.

— Точка! Здесь и будет переправа,—пробормотал он.—Больше идти некуда.

Собрались командиры взводов. Комроты Свистунов объяснил сначала положение на фронте и задачу роты, а потом дал приказание—подготовиться к выступлению. Быстро собрали роту младшие командиры. Бойцы успели отдохнуть и сейчас вполголоса (противник близко) разговаривали, с нетерпением ожидая начала боя.

Бесшумно, взвод за взводом, двинулись к исходному положению. Осторожно идут, каждую сухую ветку обходят, треснет она чуть-чуть, а в лесу как выстрел загремит. Лес становился

все гуще. Уже перестроилась рота в предбоевой порядок. Дозоры вперед высланы, а все же в предрассветной темноте, да еще в лесу, можно и пропустить что-нибудь вроде пулемета, замаскированного в кустах. Бойцы знают: не выполнит рота задачу, „противник“ овладеет переправой, выйдет в тыл головному отряду, отрежет его от главных сил.

Около часа осторожно двигались по лесу. Комроты остановил бойцов и стал ждать дозорных. Боец третьего взвода Кирюшкин сел на пенек и начал свертывать папиросу.

— Никак закурить вздумал?—подошел к Кирюшкину Афанасьев.

— А что ж? Раз привал, значит сейчас команда курить, так всегда бывает,—ответил невозмутимо тот, продолжая завертывать самокрутку.

— Ты разве не слышал, что политрук говорил? Разве можно курить на виду у врага, особенно ночью, под утро? Заметит—крышка будет,—волновался Афанасьев.—И не думай об этом даже—всю роту подведешь. Нам теперь до конца выполнения задачи курить нельзя.

— Да брось, ты, чего стараешься?—прервал его Кирюшкин.—Ведь не всамделишная война-то. Ну, если и заметят, все одно никого не убьют. Жив будешь! „До конца задачи!“ А вдруг мы ее дней шесть выполнять будем? Значит, шесть дней не курить?

— Выходит так, не курить,—ответил Афанасьев.—А по-твоему лучше, если нас обнаружат раньше времени, да и в плен возьмут?

Кирюшкин махнул рукой.

— Отстань, не буду курить! Ну, чего пристал? Я ведь и сам знаю, не маленький, скручиваю просто для случая. Вдруг разрешат, а у меня готовая.—И он отошел в сторону, сердито поглядывая на приятеля.

Афанасьев и Кирюшкин—одного отделения. Из разных концов Союза они. Афанасьев из Мурманска—с севера, холодного и снежного, а Кирюшкин—из Батума—в порту грузчиком работал. Сразу они сдружились, и вот уже второй год числятся в роте неразлучными приятелями. Кирюшкин—порывистый, увлекающийся, а Афанасьев—спокойный, уравновешенный, они как будто дополняют друг друга.

Вернулись дозорные и сообщили, что противника у переправы нет. Рота снова медленно двинулась.

Когда подошли к опушке леса, комроты с командирами взводов ушел вперед.

Узенькая речушка тихо плескалась в песчаных берегах. Зеленый густой кустарник пышно разросся на невысоких буграх вдоль реки. Тропинка, по которой шли командиры, у берега реки резко обрывалась и чуть-чуть заметно выползала на том берегу и, извиваясь и петляя, уходила в лес.

Ночная темнота еще только-только начала растворяться в молочной белизне рассвета.

— Здесь, товарищи командиры, будем защищать переправу. Больше им уйти некуда. Слушайте задачу...

Рота приступила к выполнению задачи. Отрыли гнезда для пулеметов, окопчики, и все это старательно замаскировали зеленью. Когда кончили работу, берег словно опустел. Правда, прибавилось несколько новых песчаных бугров, но их ничем нельзя было отличить от остальных.

Командир третьего взвода вызвал Афанасьева и Кирюшкина.

— Вы, товарищи, отправьтесь сейчас за кухней, она находится у домика лесника.

Командир подробно объяснил им маршрут движения по карте и добавил:

— Лучше двигайтесь до первой просеки вдоль реки, а потом по просеке выйдете на дорогу. Свернете по ней вправо и дойдете как раз до стыка. Не забудьте, что солнце, когда выйдете на дорогу, будет сзади вас. Поняли?

— Все понятно, товарищ командир взвода,—повторяя приказание, ответил Кирюшкин. Афанасьев все же задал комвзводу вопрос:

— Если кухни не будет на месте, прикажете ждать?

— Ждите.

— По прибытии сюда, где место для кухни?

— В тылу роты, у пулеметных повозок.

— Все, товарищ командир взвода,—сказал Афанасьев, вскидывая винтовку на плечо.—Разрешите идти?

— Идите.

Бледный рассвет туманом окутал лес. Ориентироваться было трудно. Выручил совет комвзвода—итти берегом реки. Кирюшкин шел быстро, опустив голову. Его преследовала неотступная мысль—закурить. Папироска, лежавшая за ухом, не давала покоя. Ему думалось: закурить сейчас, пожалуй, можно—отошли

от роты порядочно, а потом—в таком тумане не только папироски, костра и то не увидишь. Он бы закурил, да не хотелось ссориться с Афанасьевым, хотя можно отстать, пойти сзади. Но как прикурить, ведь вспышку спички-то он увидит. И тут словно, нарочно кто-то приготовил: слева на берегу, среди песчаной отмели он увидел тлеющий костер.

Угли краснели, еле-еле тлея в грудке золы и при порывах слабого ветерка чуть-чуть разгорались. Вокруг костра положены ветки—видно, тут сидел кто-то—валялись об'едки хлеба, воблы и яичная скорлупа. Как червяки, белели окурки папирос. Кирюшкин внимательно осмотрел все и пришел к заключению, что это были охотники: на песке вокруг костра были собачьи следы, пух свежее-ощипанной дичи. Он осторожно достал из костра уголек, вынул из-за уха папироску, повернулся спиной к реке, низко нагнулся и прикурил. Дым полился в горло и грудь. Кирюшкин неожиданно для себя закашлялся.

— Кто там?—услышал он окрик с той стороны. Мысль лихо-радочно заработала. „Противник!“. „Выдал!“. Курить уже не хотелось. Папироска казалась горькой и ненужной, и он, обжигая пальцы и ладонь, со злобой мямлил ее в руке.

— Эй, на том берегу, отвечай, а то стрелять буду!

Кирюшкин в нерешительности молчал. Потом, тихо ступая пошел к Афанасьеву. С того берега больше не кричали.

— Что ты так долго?—подозрительно спросил Афанасьев. Кирюшкин рассказал все, что видел и слышал, кроме того, что касалось папиросы. Афанасьев покачал головой.

— Эх, ты, не мог откликнуться. Сказал бы, что, мол, из хутора, житель местный—в тумане-то не видно, он бы тебя про нас спросил, а ты сказал бы, что никого на этом берегу не встречал. Эх, не сообразил! Ну, ладно, идем! Теперь у него подозрение будет—разведку усилят, еще нащупают наших.

Они снова двинулись вдоль реки и скоро свернули в широкую свежее-вырубленную просеку.

А вот что было на том берегу.

Усиленный разведывательный отряд получил задачу найти брод, занять его и, оставив прикрытие, двигаться дальше, нащупывая „противника“. Командир разведотряда двинулся прямо к тем же песчаным буграм, которые заняла рота Свистунова.

Шли осторожно, предутренний туман мешал что-либо видеть. Километрах в полтора от переправы сделали короткую остановку. Ездовой пулеметной повозки Капустин пошел к берегу реки, чтобы помыть руки, запачканные коломазью. Подошел, нагнулся к воде и вдруг заметил тлеющий костер. Туман над водою поднимался вверх почти на полметра, тот берег был смутно виден. Костер заинтересовал Капустина, он начал усиленно вглядываться в белесоватую темноту. Ничего подозрительного. Он уже хотел уходить, как вдруг какая-то неясная фигура закрыла костер. Тщетно пытался Капустин различить, кто это. Ничего нельзя было понять в смутных очертаниях расплывавшихся на том берегу. Вдруг фигура что-то поставила на землю — винтовку или палку, гадал случайный разведчик. Меж тем, неизвестный нагнулся к костру, и желтовато-красные искорки пошли по воздуху.

— Прикуривает,—подумал боец.—И верно, искорка пропала за нагнувшейся фигурой и потом два раза пыхнула, блеснув на чем-то металлическом.

— „Противник“,—сразу решил Капустин.—Прикуривает тайком. Два раза окрикнул прикуривавшего—ответа не было. Боец на том берегу резко выпрямился, постоял в раздумьи—чуть заметные искорки посыпались на землю, будто бросил окурок, потом быстро скрылся.

— Так и есть, „противник“. Не ответил ничего—раз, папирску стал тушить—два,—подсчитывал он улики,—и сбежал—три. Надо командиру доложить,—решил ездовой и быстро пошел к привалу.

Там уже готовились к выступлению.

Командир разведотряда, выслушав Капустина, похвалил его за сообразительность и сейчас же принял новое решение. Выслать во все стороны усиленные разведывательные партии, а на тот берег обходом через плотину—это километров 25 будет—выслать разведку в составе двух танкеток. Командиру танкетной разведки он поставил особую задачу: следуя по тому берегу реки, разведать, есть ли у переправы „противник“; если есть и немногочисленный, то с тыла обрушиться на огневые точки, смять их, а он в это время ударит в лоб; если же нет никого, то выйти на берег и показать белый флаг.

Через пять минут разведка ушла выполнять поставленную задачу. Политрук отряда, узнав об инициативе ездового Капу-

стина, отметил это в ильичевке, а Капустин описал свою разведку в специальной заметке. Бойцы смеялись над неудачливым курильщиком, обнаружившим себя. Капустин чувствовал себя героем. Он пока неплохо выполнял свое обязательство, взятое в честь приезда наркома обороны т. Ворошилова. Отряд усилил меры охранения и еще осторожнее двинулся вперед.

Кухня, которую пошли встречать Афанасьев и Кирюшкин, медленно двигалась по избитой дороге. На выбоинах ее крепко подбрасывало вверх, и тогда старший повар полка, сивоусый Фаддеич, крикая, хватался за поручни, а сидевший рядом ездовой Пиколкин сильнее натягивал возжи и сердито шикал на лошадей. Сзади кухни, так же медленно, переваливаясь на ухабах с колеса на колесо, слегка поскрипывала ротная повозка. В ней сидели ездовой и второй повар. Голова у повара болела, наверно очередной приступ малярии, но оставаться в лагере он не хотел, вот и трясся в телеге, сжимая зубы при каждом толчке. На свертке палаток сидел оружейник Фролов, оставленный за старшего на кухне и повозке.

За поворотом, на большой зеленой поляне, охваченной полукольцом ветвистых деревьев, стоял домик лесника, а дальше, метрах в шестидесяти, тянулась серовато-стальная лента шоссе. Подъехав к мостику через ручей, утонувший в густых зарослях ивняка, остановились.

— Располагайся здесь, да так, чтобы ничего не было видно. Завтрак готов?—спросил Фролов у Фаддеича.

— Давно готов.

— Печку надо потушить, чтобы не дымила. Я пойду искать роту, за старшего остается товарищ Кирьянов,—показал Фролов на Фаддеича.—Одного выставить у моста наблюдать. Разговоров и курева чтоб не было—может появиться „противник“, оставите роту без еды. Ну, маскироваться, а я посмотрю, видно или нет.

Ездовые завели лошадей, с кухней и повозкой в самую чащу кустарника, нарубили веток, прутьев и так ими утыкали повозку и прикрыли лошадей, что и в десяти—пятнадцати шагах трудно было различить, что за зеленый бугор появился у реки. Фролов удовлетворенно улыбнулся и, повторив свои указания, пошел разыскивать роту. Фаддеич еще раз проверил, хорошо ли зама-

скировались, и, убедившись, что маскировка получилась отличная, приказал ездовому Пиколкину наблюдать с моста за местностью и, чуть что, сообщить ему.

Солнце уже взошло. Молочный туман стал реже и вскоре совсем исчез. День обещал быть погожим. Людей у повозки и Пиколкина на мосту клонила дрема. Подъем был рано, часа в два, и теперь, на восходе солнца, манило желание вытянуться, уснуть хоть на часок.

Пиколкин, чтобы не задремать, начал ходить по мосту, мурлыча песенку, потом опустился к ручью, вымыл лицо, и сонная одурь утонула в серебряных струйках. Ветер стал свежее ощущаться на влажной коже, и глаза уже не слипались.

Фаддеич видел, что люди с трудом борются с желанием заснуть и придумывал, чем бы их развлечь. Он и сам чувствовал, что иногда по его глазам словно кто-то бархатной лапой проводит, и тогда отяжелевшие веки, жмурясь, закрываются, и трудно их снова открыть.

Вспомнил он, как еще в Дальневосточной, на китайской границе, в 1929 году такая же одурь иногда находила, и как эту одурь их политрук беседой про гражданскую войну как рукой снимал.

— Слышь ты, Данилкин,—позвал он второго повара,—ты б сходил умылся из ручейка, легче станет, и голова отойдет. Мы на Дальнем Востоке завсегда так делали.

— А ты что, с китайцами воевал?—заинтересовался ездовый повозки Сергеев.

— Воевал,—ответил Фаддеич.—Видишь,—продолжал он, показывая руку, на которой был только один большой палец,—это в разведке меня угостили.

— А ты бы рассказал, интересно послушать,—попросил ездовый.

— Ладно, расскажу, сходи, умойся наперед,—согласился Фаддеич, а я вот только посмотрю на Пиколкина, не уснул-ли,—проговорил он на ходу и пошел к мосту.

Пиколкин не спал. Он, бодро постукивая каблуками о мягкую землю, ходил вдоль дороги, внимательно поглядывая по сторонам.

— Ну, как, не устал?—спросил Фаддеич.

— А чего тут уставать,—ответил ездовый.—Спервоначально спать хотелось, а потом умылся—и ничего.

— Ну, стой тогда, скоро сменять пришло, если не подойдут за нами до того времени.—И Фаддеич спустился обратно в укрытие.

— Ну, рассказывай. Где это тебе руку-то?—не унимался Сергеев.

— Пошли, стало быть, мы с товарищем одним в дозор. Товарищ-то мой из Костромы был, такой весельчак, балагур—весь полк его любил за веселость. Идем мы это с ним, а он все шутки да шутки. Я ему и говорю: „Бросил бы ты, Соловьев, свои шутки сейчас, а то неровен час, на кого-нибудь напоремся“. А Соловьев еще больше. „Что,—говорит,—испугался. Да они, поди, уже верст за двадцать отступили, ихнего духу и в помине здесь нет“. Я краем уха его слушаю, а сам все по сторонам поглядываю. И вдруг вижу—за сопкой, под чахлым кустом, лежат человек пять белокитайцев, и с ними два ручных пулемета. Лежат и за нами следят—хотели, видно, живьем в плен забрать, а так они давно могли ухлопать! У меня тут мысли, как с цепи сорвались—прыгают одна за другой, а толку от этого мало. Бежать,—думаю,—пристрелят. Броситься на них в штыки?—Добежать не успеешь, расстреляют. Что делать, как предупредить приятеля, что-бы они этого не заметили? Думаю, а сам к местности присматриваюсь—и, аж сердце от радости забилося: гляжу, впереди между теми сопками имеется высота. Ежели за нее зайти, то ничего они сделать не смогут, только как дойти до нее, чтобы им не подозрительно было? И надумал. Повернул это я винтовку штыком вниз, перекинул ее так за плечо, кисет достал, папироску закуриваю, а у самого руки дрожат, табак крошится. Друг-то мой заметил.

— Что, говорит, с тобой, аль нездоровится?

Я молчу, а сам все иду и так это незаметно к сопке, к сопке уклон держу, а на кусты глазами все же позиркиваю. Вижу, рады они, думают, не заметили, прямо на них идем. Ну, хорошо. Вот только мы за сопку зашли, я как с размаху шлепнусь и приятеля повалил.

— Молчи, говорю, противник обнаружил. А он смеется.

— Где?—говорит.—Это ты вороны под кустом испугался,—да шасть на сопку, а те как дунут из пулемета—он и готов. Покачался и свалился за сопку. Ну, думаю, крышка теперь одному будет! Слышу, кричат они мне: „Сдавайся, русский, стрелять будем!“ Только я не такой, чтобы сдаваться. Подполз

к товарищу, а он, чорт, смеется—мимо они очередь саданули, а упал он от неожиданности. Ну, я рад! А он говорит: „Что же теперь делать будем?“ А потом такое удумал, аж сейчас смешно становится. „Давай, говорит, я сбоку сопку обползу и залягу, а ты на штыке свою фуражку выставь—они как саданут из пулемета. Ты фуражку на гребне сопки оставь и штык рядом выставь. Подумают, убили—грабить пойдут, а мы их тут на мушку“. Понравилась мне его выдумка. И верно, только выставил, как посыплют из пулемета!.. Ну, я, натурально, подпрыгнул, упал, а они рады, говорят что-то по-своему. Видно, спорят. Я подполз к краю сопки и гляжу. Вышли четыре—один у пулемета остался—вперед осторожно идут, а потом видят—тишина, осмелели и прут прямо на нас. А только приятель мой не стреляет что-то, я к нему, а у него, оказывается, в пулемете задержка. Ну, пока устранял ее, гляжу, они уже почти рядом. Я говорю „Пулеметчика ихнего я сниму сейчас, а на остальных, в случае чего,—в атаку“. Хорошо, вполз я на сопку, а они уже шагах в двадцати от нас, чуть не бегом бегут. Каждому охота вперед других раздеть нас. Ну, я винтовочку вскинул, пулеметчика—на мушку и положил. Метров сто было—в лоб прямо стукнул. Они от неожиданности замерли. Пока стояли, я еще одного положил. Остальные—за сопку и ну стрелять, а только вреда мало, попустому пули тратили. Тут мой приятель задержку устранил и лег рядом со мной.

Хорошо. Лежим и думаем, как теперь быть? А те уже к своим пулеметам добрались и за сопку их стащили, только дула торчат. Ну, думаю, нам из-за сопки никуда, в два пулемета, гады, расстреляют. Лежим и думаем. Я опять за местность принялся. Гляжу, метров на тридцать от нашей сопки вправо вроде бугра какого-то тянется к югу—как раз к ним, а место до бугра открытое, как на ладони.

— Слушай,—говорю товарищу,—открывай огонь на полный диск, чтобы они глаз показать не могли, а я перебегу за бугор да штыком и ударю.

Посмотрел он на меня и молчит, только к пулемету ловчее пристроился. Я отполз до края сопки, махнул ему рукой. Он как застрочит, а те с перепугу тоже из двух пулеметов сажать начали по сопке. Я вскочил да к бугру. По песку бежать тяжело, до середины только добежал, слышу—пули надо мной засвистели; открыли, черти, маневр наш. Я поднажал, они—еще

очередь,—мое счастье—взяли высоко. Только я к бугру подбежал, как третья очередь совсем возле меня песок взворошила, одна пуля в каблук попала, а две приклад разбили у винтовки. Отдышался я за бугром и пополз к ним. Винтовкой теперь только колоть можно, изуродовали ее. Ползу, а сам думаю, как же теперь их достать штыком-то? А вдруг они кого выслали за бугор? Только я это подумал—гляжу мне навстречу винтовка высовывается. Я замер, будто убит—руки раскинул, винтовку в сторону отбросил, сам одним глазом слежу. Выполз один, увидел меня. Остановился, целиться стал. Ну, думаю, пропал ни за грош. А он, видно, передумал, снова пополз ко мне. Чувствую—за сапог тянет, снимает. Я нарочно ногу не гну—мертвый, мол. Он—в азарт, винтовку отложил да двумя руками за сапог, а мне этого только и надо, я его другой ногой как стукну промеж глаз каблуком; он повалился. Тут я его и прикончил. Забрал его винтовку—и дальше. Подполз—вижу приуныли те двое у пулемета. Я как вскочу да „ура“, а один гранатой в меня—вот руки и не стало,—неожиданно оборвал Фаддеич.

— А как же с теми двумя?—полюбопытствовал Сергеев.

— А так, просто. Я от гранаты свалился, они вскочили добивать. Тут их мой приятель и положил из своего пулемета.

— А как ты в повара попал?—спросил Данилкин.

— Демобилизовался я, курсы в Москве поварские кончил, а потом работать пошел; оно ничего, главное—правая рука цела, а так...

Закончить он не успел. Подбежал Пиколкин и доложил, что из леса к мосту бегут два человека с ружьями.

Фаддеич приказал ездовым с винтовками залечь у моста, а сам с Данилкиным пошел вброд через ручей, чтобы обойти с тылу бегущих. Выйдя на берег, он сразу узнал своих.

— Эй, Афанасьев, Кирюшкин! Куда вы? Мы здесь!—окрикнул бегущих бойцов Данилкин.

Когда бойцы подошли к поварам, Афанасьев предупредил их, что вдоль дороги по направлению к домику лесника прошли две танкетки.

Бойцы живо попрятались в кустарнике.

— Я предлагаю забрать их в плен,—проговорил Кирюшкин.—Как выйдут за мост, мы на „ура“—им деваться будет некуда.

— Брось ерунду пороть!—оборвал его Афанасьев,—с винтовками на танкетки!

— А он дело говорит,—вмешался Фаддеич,—в плен взять стоит. Только не так, а по-моему.

— Как же это по-твоему?—переспросил Кирюшкин.

Фаддеич загадочно улыбнулся и повел всех к мосту.

— Вот так,—излагал он свой план:—Пиколкин и Сергеев берут два дышла от повозки и кухни и садятся под мостом. Как только танкетка вползет на мост, вставляйте ей дышла между колес выше гусеницы, она и станет. Водитель заинтересуется, почему стала машина, вылезет посмотреть. Вторая танкетка тоже остановится—ей об'езда здесь нет нигде, кроме моста, дорогу загородит первая танкетка. Значит, второй водитель тоже вылезет посмотреть, а тут мы их и сцапаем. Вы, Афанасьев и Кирюшкин, заляжете в кустах с правой стороны, а я с Данилкиным—слева. Поняли? По местам!

— Стой, Фаддеич!—прервал Афанасьев.—Так хитрить хорошо на войне, а здесь ведь „противник“-то—свой. Твоим способом можно машины локоверкать. Я вот что предлагаю: разбросать по дороге бревен потолще, вон их у лесника сколько лежит,—а на мост—бревно сантиметров в 30—35 толщины подкинем. Им не пройти, вылезут танкетчики бревно убирать, мы их и накроем. А вылезут обязательно, им об'езда здесь нет.

С предложением согласились.

Минут через пять бревна разбросали, и все бойцы уже лежали на местах. Вдали, нарастая, послышался шум мотора. Вскоре на подеме показалась первая танкетка. Танкетка шла медленно, ощупывая каждый клочок. Видно было, что танкетчики ожидали близкой встречи с „противником“. Вот показалась вторая. Они, тихо тарахтя, обходя по дороге бревна, пошли к мосту, и вскоре первая танкетка, подрагивая, забралась на досчатый настил моста и пошла вперед по сгибающимся под тяжестью доскам.

Получив задание, танкетчики быстро добрались до реки и без большого труда переправились на тот берег.

Никого не встречая по дороге, они осторожно продвигались. Осторожность их была не напрасной. Вскоре, приостановившись у речки, чтобы посмотреть дорогу через болото, они услышали отдаленный гул. Кто-то двигался к ним навстречу. Водитель

Устинов припал к дороге ухом, и смутный гул стал более явственным от легкого содрогания земли.

— Кавалерия,—сказал он,—и много повозок. Надо прятаться в кусты.

Едва успели они кончить маскировку, как мимо них на широкой рыси прошел целый кавалерийский полк „противника“ с артиллерией.

Только улеглась пыль за последним всадником, танкетчики вышли из укрытия.

— В обход через плотину нам в тыл идут,—решил командир разведки Лобов.—Надо сообщить нашим. На таком аллюре они через два часа будут уже у нас в тылу. Назад ехать не стоит, мы двинемся через мостик у домика лесника и потом по дороге выйдем как раз к переправе. Заводи машины.

Танкетки двинулись к переправе.

В узкую щель плохо видно, надо иметь хорошую тренировку и опыт, чтобы разглядеть местность и „противника“ в такие маленькие щели. Разведчики двигались осторожно, боясь пропустить „врага“.

Вдали показалась дорога, а за ней—домик лесника. Мостик через ручей был пуст. Кругом царила полная тишина. На часах Лобова было половина седьмого. Танкетки послушно свернули на дорогу и, войдя на мост, вдруг стали.

— Что такое?—недовольный остановкой в таком открытом месте, спросил Лобов.

Устинов, пожав плечами, переключил скорость. Взревел мотор, танкетка покачнулась, но не двинулась с места. Тогда Устинов открыл дверцу и вылез на мост, а вслед за ним и Лобов. Из второй танкетки выскочил водитель Самопалов. Только они успели рассмотреть, что впереди лежит бревно, как громкое „ура“ заставило их броситься к машинам. Но было уже поздно. На них смотрело шесть винтовок.



Комроты Свистунов обеспокоен. Вопреки ожиданиям, „противник“ не показывается, а уже семь часов. Кухня, которая должна была притти к пяти часам, не пришла. Были все основания предполагать, что в тылу действует „противник“, захвативший посыльных и кухню.

— Неужели я ошибся?—думал он.—А что, если они пошли

на плотину. Но ведь туда ушел кавполк, должен быть бой, и я непременно имел бы уже оттуда вести.

Он хотел послать еще двух посыльных к кухне и разведку на тот берег, как вдруг увидел бегущего к нему Афанасьева.

— Ну, что? Почему задержались?

— Есть, товарищ командир. Кухня прибыла в порядке. Задержка произошла по той причине, что брали в плен танкетки „противника“, — доложил, улыбаясь, боец.

Афанасьев рассказал о случае с Кирюшкиным у костра на берегу ручья.

— Правильно! — похвалил командир роты. И они пошли в тыл роты, где бойцы слушали рассказ Кирюшкина о пленении танкеток. Опрашиваемые танкетчики ничего не говорили, и только по записной книжке командира разведки, которую он не успел уничтожить, удалось установить их задачу и наличие „противника“ на том берегу.

У комроты мелькнула догадка: раз их послали сюда, значит их ждут или по их сигналу должны начать действия. Но как узнать сигнал? Упорное молчание танкетчиков ему нравилось и вместе с тем мешало выяснить самое главное для него.

Было решено подвести танкетки к берегу и из них стрелять в „противника“. Вскоре танкетки двинули к реке. В машине сидел сам командир роты Свистунов и белым флагом показывал дорогу и место второй танкетке. Вдруг случилось неожиданное. С противоположного берега пошел к переправе „враг“.

Напрасно Лобов кричал: „Назад, это красные! Мы в плену!“ Было поздно.

Пулеметы заговорили со всех сторон. Бросился „противник“ назад.

Начальник разведотряда быстро сообразил в чем дело, выдвинул на берег батарею и обрушился огнем по пулеметам, но в это время в тылу у него загремело „ура“.

Кавполк прямо с марша перешел в атаку, услышав у переправы выстрелы.

Разведотряд был „уничтожен“. Переправа — свободна. Задача была выполнена на отлично.

Рота была на отдыхе, когда подбежал Кирюшкин с ильичевкой. — Смотрите, товарищи, трофей! Ильичевка „противника“, — шутил он. — А ну, почитаем, что там есть интересного? — И он

развернул ильичевку. В глаза сразу бросилась карриатура: лежит боец у воды, наверное пьет, а на том берегу другой красноармеец, будто спит,—определил Кирюшкин.—Он начал читать вслух заметку под названием „Моя разведка“, но чем дальше читал, тем медленнее. Чувствовал Кирюшкин, как он постепенно краснеть начал.

— Э, неинтересно,—махнул он рукой и стал читать другую заметку.

Афанасьев через плечо друга дочитал заметку и понял, что в заметке пишется о Кирюшкине, о случае у костра. Досадно стало Афанасьеву за своего друга, решил он посрамить его перед товарищами.

— Товарищи, а ведь это про Кирюшкина написано! Он со мной за кухней ходил, он и к костру бегал. Сам мне все рассказал, только про папироску утаил.

— А ты откуда знаешь, что это я? Может...

Кончить Кирюшкину не удалось—команда звала в строй.

Рота шла к сборному пункту полка.

Афанасьев и Кирюшкин шли рядом. Кирюшкин молчал и не отвечал на вопросы Афанасьева.

— Ты, что, рассердился на меня?—удивленно спрашивал Афанасьев.—Эх, ты, неужели не понимаешь, что если бы не ты со своей папироской, рота бы давно сделала свое дело, а так задержка вышла: „противник“ разведку усилил. Хорошо, что танкетки в плен взяли. А если бы они зашли в тыл, смяли нас, доложили бы об обходящем кавполке, все бы пропало! И все твоя закурка несчастная могла подвести!

Кирюшкин улыбнулся товарищу и сказал:

— Верно, Петруха, надурил с папироской. Больше этого не будет.—Он от волнения сбился с ноги.

— Товарищ Кирюшкин, ногу!—окликнул его командир отделения.

— Есть, в ногу!—все еще радостно улыбаясь, тихо ответил своим мыслям Кирюшкин.

БАЛЛАДА О РУЧЬЕ

Я ночи такой еще не видал.
Равнинную ширь—не обнять.
Шумит по оврагу, бежит вода—
Не может свой бег унять.
Мы, тихо ступая, подходим к ручью,
Здесь место отмечено флагом,
И кони мои порывисто пьют
Ручья серебристую влагу.
Здесь может когда-то от зноя и ран,
Прильнувши сухими губами,
Без устали пил лихой партизан
Рукою опершись на камень.
Холодной водою поил пулемет
И снова стрелял пулеметчик.
Здесь, может, на отдыхе конницы взвод
Стоял голубою ночью...
Я вскинул поводья, погладил коня—
Мы жажду свою утолили.
Мы снова в разведке на этих полях,
И наши клинки не остыли.

ДОГОВОР

Рассказ

I

Никто в части точно не знал, когда, в какой день, час и минуту начнутся большие зимние маневры. Одно только было известно, что главные силы оставались на месте, на основном аэродроме, а одно звено самолетов, группой особого назначения, перебрасывалось на запасную площадку, расположенную где-то вблизи района учений.

Уже откипели дни особенно горячей и кропотливой подготовки, но успокоенности не было. Наоборот, каждый еще острее чувствовал близость той долгожданной минуты, когда вдруг в общежитиях, в классах, в ангарах, во всем авиационном городке раздастся знакомый сигнал, выбегут на аэродром и станут у своих машин готовые к полету летчики, летнабы, техники и мотористы.

Знали все еще и то, что на запасную площадку перебрасывалось лучшее звено командира Сулова, и вылет его был назначен на завтрашний день.

Раньше всех закончил сборы к перелету командир Сулов.

Самолеты и оружие были в полной готовности. Материалы, горючее, наконец, весь технический и приданный звену вспомогательный состав сегодня утром поездом выехал на площадку.

Получив в штабе части полные и ясные указания о задачах, возложенных на звено, командир Сулов попросил командиров экипажей и летнабов зайти к нему на квартиру.

Вечером, в точно назначенный час, все были в сборе. Идя к Сулову, каждый питал надежду, что командир так же как всегда, коротко и сухо расскажет о плане учений, насытит дав-

нишнее любопытство подробностями, от которых все станет ясно и понятно. Но, сверх ожидания, командир и не думал говорить об учении. Он сегодня как-то по-особенному был приветлив и весел. Угощая товарищей чаем и свежими булками, он с увлечением рассказывал о сложнейших опытах лаборатории академика Павлова, о неизсякаемом и замечательном творчестве Верди, об удивительных приключениях Гаргантюа и Пантагрюэля, прочитанных им с захватывающим интересом в знаменитой сатире Франца Раблэ.

И с каждой минутой, глядя и слушая своего командира, поражались присутствовавшие. Они никогда не думали, что у Суслова могут быть мысли и чувства, не связанные с боевой подготовкой, и не ожидали встретить такого горячего собеседника по вопросам науки, музыки, литературы. И этот вечер, и командир, и обстановка, созданная им, простая и непринужденная, но столь необычная, вначале смутили их, но с каждой минутой эта неловкость таяла, как снег под лучами горячего солнца, и сперва робко, а потом все смелее втягивались они в интересный и увлекательный разговор.

И только один летчик Кузьмич молчал весь вечер. Прищурив глаза в хитрой улыбке, он внимательно прислушивался к каждому слову командира, думал и ловил случаи и мысли, за которые он мог бы уцепиться и незаметно переключить разговор на другой, волновавший его вопрос.

Когда Суслов закончил рассказ о Гаргантюа, Кузьмич мягким и вкрадчивым голосом спросил:

— Какие вот нас ожидают приключения... там, на маневрах?..

Командир посмотрел на Кузьмича, потом перевел взгляд на остальных товарищей—и улыбнулся. Он сразу понял, что в каждом горит жажда узнать все и подробно о завтрашнем дне.

— Я думаю, что наши приключения, вернее дела, будут более интересны и увлекательны. Значимость их велика прежде всего тем, что в них заключены идеи нашей партии, всей страны. А трудности, несомненно, будут велики... —сказал он, медленно отчеканивая каждое слово.

— Преодолеем все, товарищ командир!..—с задором проговорил Кузьмич.

— Силенки хватит?

— Даю гарантию! А за своих орлов я... ручаюсь!..

— Это хорошо... —с восхищением заметил Суслов.—Я прошу

не забывать ни на минуту сложности и ответственности учений. Следите за работой технического состава, сами—от инструкций ни на шаг. Летнабам нужно еще раз просмотреть НАЖ и КОП и там... держать под руками. По правде говоря, я вас, товарищи, и пригласил сюда... чтобы предупредить. Рассказывать же подробно я не буду. Завтра, на площадке, узнаете все, а сегодня я хочу познакомить вас с одним документом. Он не велик, но должен быть основой всей нашей работы.

Суслов вынул из планшета листок бумаги и зачитал его. Это был договор социалистического соревнования. В нескольких маленьких пунктах были заключены все задачи, стоявшие перед звеном в области подготовки материальной части, техники пилотирования, штурманского дела, стрельбы и бомбометания. Зачитывая каждый пункт, Суслов указывал на недостатки, имевшиеся в прошлой работе каждого, говорил об опасностях, которые рождаются недисциплинированностью и распушенностью, спокойно и уверенно вел каждого, как опытный рулевой, минуя опасности, по ему одному ведомому пути.

Слушая командира, Кузьмич украдкой зевнул в кулак. Он разочаровался в вечере, в своей попытке выудить что-нибудь конкретное от Суслова. Слова командира ему казались скучными, давно знакомыми иплыли они медленно и тягуче мимо сознания.

— Есть, товарищ командир! Подписываю!..—сказал с железной решимостью летчик Штейн.

Над столом склонились головы летчиков и летнабов. Подписывая договор социалистического соревнования, они снова перечитывали каждую строку, каждое слово.

— Ну, а ты?..—спросил командир у сидевшего в стороне Кузьмича.

Тот неожиданно встрепенулся.

— Конечно... могу подписать!..—сказал он и подошел к столу.

В полночь, выйдя из квартиры командира звена и распрощавшись друг с другом, летчики Кузьмич и Штейн шли некоторое время по улице молча.

Вдруг Штейн остановился и, задержав за руку Кузьмича, сказал:

— Знаешь, Костя... я вот думаю... и как коммунист, как товарищ... хочу тебе сказать. Не надо зазнайства. Оно ведь ослепляет порой так, что перестаешь видеть недостатки. А самое главное—оно разлагает подчиненных...

— Ну-у-у... понес философию!..—смеясь, оборвал говорившего Кузьмич и, вобрав поглубже голову в мех реглана, быстро зашагал к своему корпусу.

2

Заревом пожара горел закат на снегу. Он залил ярко-красным светом широкую площадку. На нее, затерянную среди равнин и лесов, должны были прилететь машины.

Мотористу Черняку не сиделось в теплом домике лесника. С нетерпением ожидая прилета машин, он уже около часу бродил один, то пристально всматриваясь в потухавшее небо, то чутко прислушиваясь к малейшему шороху. Ждал машин с минуты на минуту и стартер Мазуха. В центре площадки, у выложенного „Т“ он от холода буйствовал на месте в каком-то ирокезском танце.

Но вот издалека донесся еле уловимый рокот. Насторожился Черняк, застыл с растопыренными руками Мазуха. В два прыжка Черняк очутился у двери и вихрем ворвался в комнату.

— Летят... Наши летят!..—закричал он. Все выскочили из домика и бросились к старту.

Три самолета, кружась над площадкой и снижаясь, шли на посадку. В гуле моторов вздрагивали земля и лес. А когда стихли моторы—снова морозная тишина повисла над снежной равниной.

— Смотри, Черняк... всю воду до капли... в радиаторе, в трубках чтобы не осталось,—говорил мотористу техник Корсунь. Он стоял на стремянке перед раскапотированным мотором и проверял свечи.

— Есть, товарищ командир!..

Дружно и четко шла работа. Зная хорошо, что машина, находясь на площадке, уже вступила в полосу учений, зная все неожиданности маневренной обстановки—Корсунь решил работать осторожно. Нужно было не только принять машину после перелета, но и всю проверить ее, осмотреть каждую деталь, добиться полной уверенности, что самолет в любую минуту будет готов выполнить боевое задание. Предупредив об этом Черняка, они вдвоем и решили эту задачу спокойно, старательно, не торопясь.

— Черняк, залей на клапана смесь с керосином!..—бросил коротко Корсунь и, закончив работу, прыгнул со стремянки вниз.

Только теперь он заметил, что на соседних машинах уже никого не было. „Эге-э... Кончили.... Здорово... С огнем соревнуются!“—подумал он.

— А сегодня тройка нас обогнала, товарищ Корсунь!..—заметил Черняк, капотируя мотор и вставляя последнюю шпильку.

— Ничего-о!.. Оно, конечно, хорошо, что обогнали. Но все-таки сегодня, сам знаешь—не к спеху. Да и соревнование не в том только, чтобы обогнать. Сегодня можно и нужно нажать на другое, на качество! Оно-то у нас в договоре на первом месте. Вот что!..—бодро ответил Корсунь.

Зачехлив машину, они кинулись навстречу ласковым огонькам, мерцавшим на опушке леса. Там, в домике лесника, расположился штаб группы. Пробегая мимо „тройки“, Корсунь увидел что-то черное на снегу. Поднял, с изумлением посмотрел и сунул находку в карман.

Войдя в комнату, они остановились на пороге, отряхивая снег с валенок. У печки отогревались летчики и летнабы после перелета. В углу, за столом, техники и мотористы шумно резались в „козла“.

— А-а-а... Митя!.. Шагай сюда, на поддержку!..

— На мусор играем!..—завидя вошедшего Корсуна, крикнул техник Лаптев.

— То-то вы такие шустрые!..—смеясь сказал Черняк.

— Ясно... Копаться не в нашем духе!..—пояснил техник Зырянов, лукаво подмигивая сидевшим за столом.

Корсунь понял намек на свою медлительную работу и это больно ущипнуло его. Вначале он хотел было наедине передать находку Зырянову, но сейчас решил поступить иначе.

— А это... в вашем духе?..—спросил он, кладя на стол найденный на снегу свечевой ключ.

Наступило неловкое молчание. Зырянов и Путов смутились. Зырянов сразу же узнал свой ключ, взял его и спрятал в карман. Путов с нарочитым равнодушием процедил:

— Подумаешь... мелочь!..

— Не мелочь, а инструмент... частица нашей техники!..—горячо обрезал моториста Корсунь.—Такие мелочи давят нашего брата, тормозят движение вперед, снижают качество работы. Ты вот... моторист, а не знаешь, что наша техника пренебрежения к мелочам не терпит!..

— А-а... о чем речь?.. Конечно... теоретически все ясно и понятно!..—неожиданно вмешался Лаптев и, желая направить разговор по другому руслу, предложил:

— Прошу на практике, товарищ Корсунь! Чувствую, что дупель у вас. Прошу... выхаживай!..

Корсунь рассмеялся и начал игру.

В эту минуту из другой комнаты выбежал радист.

— Товарищ командир... радиограмма!..

Командир звена Суслов схватил лоскут бумаги и быстро прочитал его. Потом вынул карту, развернул ее на столе и, обращаясь к летному составу, торжественно сказал:

— Внимание. Карту в руки... боевое задание... Приказ: разбомбить станцию Росна... Разведка аэродрома противника... По предположению он находится вот здесь. Первому экипажу... вам, товарищ Штейн... вылет в шесть утра. Вам, товарищ Кузьмич,— в семь. У вас ответственное задание. На станции Росна идет всю ночь выгрузка танков противника. Понятно? Вот маршрут... Исходный пункт—деревня Сосны. Ориентир номер два...

3

Работа на старте кипела бодро и легко.

В прозрачной вышине стыла луна, окаймленная блестящим нимбом, и обливала равнину, самолеты и людей мягким, зеленоватым светом. Каждый мельчайший винтик был виден глазу, как днем.

Корсунь и Черняк в моторе были вполне уверены. Не зря они вчера вечером отдали ему так много времени. Теперь осталось только заправить, да запустить и еще раз проверить в работе, вслушиваясь в говор его.

Черняк, с ведрами, уже в седьмой раз побежал к водо-маслогрейке, а Корсунь, насвистывая игривую песенку, ходил вокруг самолета, хозяйским взглядом осматривая винт, шасси, лыжи, рули управления. Любовно ощупывал ленты, стойки, узлы.

Рядом подготавливалась голубая тройка. Зырянов работал под плоскостями у бомбодержателей, Путов—заряжал машину. Стоя на стремянке, он заливал в радиатор горячую воду. Он не любил заливку, вручную—в особенности. Радиатор пожирал не одно ведро воды, и каждое нужно было держать на весу. Дрожа от холода, Путов с грустью смотрел, как медленно таяла вода в воронке. И руки сегодня ослабли раньше времени, ныли тупой болью. Взглянув украдкой на соседнюю машину, он увидел, что Черняк уже завинчивал пробку радиатора.

— Путов... копаешься!..—зашипел из-под плоскости Зырянов.

Путов разозлился еще больше. Сорвав воронку, он ткнулся носом к горловине, но пар жаром обдал его. Ничего не видя, отпрянул он и решительно швырнул ведро и воронку в снег.

— Гото-ово!..—крикнул он технику и кубарем скатился со стремянки.

Тишина морозного утра враз наполнилась плавным рокотом мотора.

Штейн посмотрел на командира и взором спросил:

— Можно?..

Суслов наклонился к нему и над самым ухом гаркнул:

— Не подкача-ай!..—И, взглянув на часы, утвердительно кивнул головой. Штейн бросился к машине и через две минуты первым покинул старт.

На заре, пройдя над облаками фронт и зайдя в глубокий тыл противника, он начал разведку. Выйти совершенно из облаков он опасался, а поэтому решил производить разведку короткими вылазками.

Выскочит Штейн из облака на миг, вместе с летнабом быстро оглянет заснеженную равнину—и снова в серое, облачное укрытие.

Много таких вылазок сделал Штейн, пока нащупал аэродром противника. Как на ладони, расстилалась и лежала перед ним небольшая площадка. В этот ранний час на ней царило необыкновенное оживление. На красной черте, застыв ровненькими рядками, стояли машины. Возле них, черными, еле заметными букашками копошились люди. Вот от переднего рядка оторвался один самолет и пополз к центру площадки. За ним—другой, третий, четвертый. Они выруливали на старт.

Кружась над красной чертой, Штейн с увлечением изучал аэродром, близлежащие ориентиры, изучал силы противника. Летнаб не раз щелкнул грушей фото-аппарата. За работой они и не заметили, что со старта взлетело три истребителя. Они шли на разведчика.

— Погоня!..—вдруг не своим голосом крикнул летнаб. Штейн оглянулся и увидел, что истребитель уже близко.

— У тебя все готово?..—спросил он летнаба.

— Да... да...—тревожно вскричал тот.

— Разведка выполнена! Аэродром найден. Силы в памяти и самое главное—на пленке. Можно и домой!—подумал Штейн и дал полный газ самолету.

Долго затравленным зверем выла машина, металась из сто-

роны в сторону. Но вот впереди показалось темное крылатое облако, тянувшееся далеко к югу. Штейн вскрикнул от радости, слегка взял ручку на себя и врезался в укрытие.

Уйдя от преследования неприятельских истребителей, он не желал омрачать своей радости и успеха новой встречей с ними. Зачем?.. Он смело может не выходить из облаков. Без земли по приборам он так же точно приведет машину в указанное место. Не даром слава о нем, как о мастере слепого полета, прогремела по всему округу. Однако, поразмыслив немного, Штейн решил, что долго идти слепым полетом было невыгодно. Он отлично знал, что, находясь на территории противника, нужно непрерывно вести разведку и каждую минуту использовать на то, чтобы добыть как можно больше сведений. А для этого нужно видеть землю и все то, что делается на ней.

Снизившись под облака и оглянувшись по сторонам,—он не увидел истребителей и уже спокойным взором забегал по земле.

И сразу он нашел то, что интересовало его. Залесными укрытиями находились „синие“. Это повидимому были главные силы. Целые дивизии пехоты, конницы, артиллерии стояли здесь наготове, неподвижно притаились в ожидании приказа о наступлении.

— Чего же они ждут?..—удивился Штейн.—Ах, да-а, танки! Ну-у-у... голубчики! Не дождетесь!..

Летя вдоль шоссе, он заметил впереди группу конных и пеших бойцов. Они стояли на мосту, переброшенном через большой и длинный овраг, расколовший надвое шоссе.

— Стерегут... боятся, чтобы не взорвали. Не надо. Не тронем. Танки все равно не придут. Кузьмич да Козлов видно наделали там делов!..—с гордостью подумал он. Он горел работой всего звена, беспокоился за каждого. И вспомнив о товарищах, он почувствовал, как его вдруг потянуло посмотреть, узнать, что произошло на станции. В его распоряжении было еще несколько минут. Кстати, вот уже показалась железная дорога, а вон там, вдали и станция.

Приблизившись, он с улыбкой глянул за борт и сразу же, как от удара—вздрагнул, подался назад. Внизу горячо и как ни в чем не бывало, люди сгружали танки с железнодорожных платформ.

— Почему, как так? Где, наконец, Кузьмич и Козлов?.. Что с ними? Почему они не разбомбили станцию, танки?..

Обуреваемый самыми разнообразными и тревожными мыслями, Штейн решительно взял курс на свой аэродром.

Сразу же на взлете, установив двухстороннюю радиосвязь, Козлов взялся за приборы. Он работал точно и легко: повернул ручку навигационного визиря, промерил углы сноса на трех курсах по ветрочету и поймал нужную точку.

— Исходный пункт — деревня Сосны... Курс — 270. Скорость по прибору... высота заданная, — передал он Кузьмичу.

А впереди, словно гонимые ураганным потоком ветра, бежали на самолет снежные равнины, темные лесные квадраты. Они, как волны, набегали на машину и в тот же миг проваливались где-то под фюзеляжем.

Вот показалась деревня Сосны. Это — исходный пункт. Еще два таких же на маршруте, затем железная дорога и станция. Там Козлов так же четко и уверенно произведет расчеты, с силой рванет ручку бомбосбрасывателя — и серия бомб полетит в цель.

Козлов почувствовал приятную дрожь во всем теле.

Проверив еще раз приборы, карту, местность, он подумал: „Хорошо ведет, хоть и молод!“ — и ласково посмотрел на Кузьмича.

„Но что это? Что с ним?“ — тревожно вспыхнуло в сознании.

Кузьмич беспокойно ерзал на сидении. Он то прятал голову в кабину, то выбрасывал ее вперед, то в стороны. Козлов насторожился. Оглушительный треск выхлопных труб и черные клубы дыма, вырвавшиеся из них, сразу объяснили ему причину странного поведения Кузьмича.

Кинув взволнованный взгляд за борт, Козлов увидел внизу под собою и впереди безбрежный лесной массив.

— На-за-д!.. — крикнул он остервенело Кузьмичу. Тот послушал его, но еще никак не мог поверить, чтобы мотор мог стать. Он еще раз завертел ручку штурвала, но все было бесполезно. Мотор сдавал, теряя число оборотов. Водяной термометр показывал все выше и выше! 90... 100... 110... 120...

Над мотором взвилось белое облако. Вначале оно казалось маленьким, почти незаметным, но с каждой минутой оно разрасталось все больше и больше. Сильная струя пара вырвалась из распределительного бачка центроплана и горячими брызгами осыпала лица. Белая, непроницаемая пелена встала перед глазами.

Козлов яростно стиснул обеими руками турельный круг. Он затрясся весь, как в лихорадке. Его не пугала вынужденная посадка, даже авария. Мысль более острая сверлила до боли мозг.

— А как же задание? Оно будет невыполнено. Танки выгрузятся, соединятся с силами противника и ринутся в наступление. Но что же делать? А договор? Социалистическое соревнование?

Кузьмич выключил мотор и, высунув голову за борт, высматривал площадку. Через минуту он крикнул в трубку:

— Наша берет... дотянем...

„Н... наша берет“... — с горечью подумал Козлов, криво усмехнулся и... родителей своих помянул круто.

... Не замечая подошедшего и собиравшегося было рапортовать Штейна, командир звена Суслов, бросал короткие и хлесткие слова:

— Хороши, нечего сказать! Один не долил ведра воды, другой не посмотрел, третий не проверил. А в результате подарок: вынужденная посадка. Позор! И вы это называете работой, борьбой за выполнение договора социалистического соревнования? Вы... вы...

Высокий и сухой, широко расставив ноги, он стоял перед экипажем Кузьмича, обращался к каждому, заглядывал в лица и сверлил своим острым, испытующим взглядом. Кузьмич никогда в жизни не испытывал большего позора, чем сейчас. Сгорая от стыда, он готов был бежать с площадки, чтобы не слышать жестких укоров командира, не видеть товарищей. Присутствие их угнетало Кузьмича.

Унав еще на старте о вынужденной посадке, Штейн, придя на место происшествия, был поражен тем, что так дешево отделался Кузьмич. Могло быть значительно хуже.

Слушая командира, он вспомнил вечер, чашку чая и свой разговор с Кузьмичем.

— Это закон... расплата... Жизнь платит за всякие авиашутки, за пустячки, мелочи и зазнайство!.. Ясно!.. — думал он, глядя на багрово-красные лица товарищей, вытянувшихся в струнку перед командиром звена.

— Вы понимаете, кому идет впрок ваша работа? Ваша такая... готовность? — строго гремел Суслов. — Врагу! Он будет чертовски рад. И вот сегодня тоже... задание сорвано... Танки сейчас на полях крошат наши части и вы... вы в этом виноваты!

— Да... да... да... — мысленно соглашался Штейн, кивая

головой в такт словам командира. Он хорошо знал, что это так. Он помнил силы противника, видел разгрузку танков на станции, знал, что они пройдут по шоссе.

— Позвольте... Но они могут и не пройти... Ну да, конечно! Если сделать вот так...—неожиданно вспомнил он и всем телом рванулся к командиру.

— Приказ должен быть выполнен!—вскричал он.

— Да... если бы можно было... Какой угодно ценой!

— Можно... можно... и без цены!—кричал Штейн, и в голосе его слышалась величайшая радость. В двух словах он рассказал командиру о разведке в тылу противника. Но не это сейчас было важно. Овраг, перерезавший шоссе и мост, охраняемый „синими“—вспомнил он. А путь танков со станции только по этому шоссе, только через мост.

Командир звена понял смелую мысль Штейна и, обращаясь к техническому составу, крикнул:

— Подвесить бомбы... запускать моторы!—И, повернувшись к экипажу Кузьмича, тихо с затаенной обидой в голосе проговорил:

— Э-эх вы... орлы!.. А я понадеялся... Ну, да ладно. Мы еще dokonчим наш разговор!..

А через пять минут два самолета, ведомые Суловым и Штейном, взлетели со старта и устремились туда, где в свитках зимнего тумана разгорался пламенем рассвет.

О КОНЕ

Нынче день
 Выпал на диво—
 Был в манеже
 Героем не я-ль,
 И мой друг,
 Черногривый, красиво
 Брал плетень,
 Гроб и рояль?
 Солнце щедрится
 „На два с покрывкою“,
 Золотится у „Вязкого“
 Шерсть,
 Право слово,
 Мне есть
 Чем гордиться,
 Чем похвастаться—

Тоже есть.
 Никогда я носа
 Не вешал,
 Конь всегда
 Здоров и чист.
 Но сегодня
 Чуть больше
 Я весел
 И немного
 Не в меру речист.
 Солнце льется
 В квадраты окон:
 Я пою
 О своем коне.
 А с портрета
 Товарищ Буденный
 Улыбается ласково мне.

АБРАМ КРЕЙНИС ИЗ УМАНИ

— Умань, Умань!.. Шесть минут стоянки. Спешите выходить. Умань, Умань!

Абрам Крейнис с трудом подымает голову, протирает слипшиеся от сна глаза и недоумевающе оглядывается по сторонам.

Что за чорт! Откуда Умань?.. Койка его стоит на обычном месте у окна. Рядом с ним, как всегда, укрывшись с головой одеялом и странно, точно козлы, расставив ноги, спит Кирилла Цыганок. По правую руку со свистом похрапывая и каждый раз захватывая при этом открытым ртом глотки воздуха, лежит Петушинский.

Так явственно слышал разбег колес, потом тормозное замедление. Пробегая мимо семафора паровоз свистнул. Когда минули мост, кондуктор обошел вагон и отдал на руки билеты. Абрам даже помнит, он долго думал, куда бы положить билет, чтобы легче было достать его при выходе.

Пробежали родные и близкие места. Сейчас поезд остановится:

— Умань, Умань!.. Шесть минут стоянки. Но кто же меня разбудил?—Абрам перегибается к табуретке, на которой аккуратно сложено обмундирование, достает часы и с трудом, попадая ногтем в зацепку, открывает крышку.

— До под'ема еще полчаса. Спать уже не стоит, вставать рано.—Снова улегся на койку и, удобно заложив руки под голову, начал припоминать сон.

— Почему вдруг снилась Умань? Тянет ли меня туда? Постой, постой, и он, точно перебивая самого себя, пытается вспомнить год от'езда из дому. Вначале уехал Яша. Это было в 1928 году. С каким трепетом он ждал тогда письма от Яши: „Абрашка, в Москве восемь тысяч Уманей, а в одном средней величины

дворе здесь живет больше людей, чем на нашей Революционной... Потом Яша звал в Москву, но он не поехал. Дуська была против.

— Куда ты поедешь? Ни комнаты, ни работы.

Она говорила так, но думала о другом. О, он ее хорошо понимал! Куда ты поедешь, а наши встречи, а вечера в душистом городском саду?.. Хорошая девушка Дуська. Не поэтому ли ему снилась Умань.

Еще через год, в 1929 уехала в Харьков на рабфак сестра. Он уже к этому времени кончил профшколу. На выпускном вечере решалась его судьба. Зачитывая список выпускников, директор прочел его фамилию третьей и сделал после этого короткую, трехсекундную паузу. Абраму показалось, что все кругом замерло, и он ясно почувствовал тревожные учащенные удары своего сердца.

— А Крейниса мы оставим инструктором по плотничьему цеху.

В этот вечер он впервые почувствовал себя взрослым. Где-то на крайних скамьях сидела Дуська. В перерыве он подошел к ней. Дуська всегда смеялась над его хилостью, над тем, что он в беге первым отставал и, тяжело захватывая воздух открытым ртом, ерошил с досады вспотевшие волосы. В шутку она называла его „гвардейцем“. Он сердился, но это была Дуська. Сердиться на нее долго нельзя было. И к тому же Дуська во многом была права—побольше сил и ловкости не мешало бы Абраму.

Она встала ему навстречу:

— Абрам Моисеевич... Тебя сейчас иначе не назовешь. Педагог, инструктор.

Она сказала это и улыбнулась.

Абраму первые слова показались насмешкой и где-то внутри подступила досада; но улыбка скрасила недовольство и он ответил ей таким же шутливым тоном:

— Инструктор-конструктор, педагог без ног, а знаешь, Дуська, я счастлив.

Они не остались на концерте и пошли бродить по стемневшим весенним улицам, недавно обрызганным теплым дождем.

Дуська прижалась к его плечу:

— Абрашка, а ты теперь не уедешь?

— Сразу, видно, не отпустят.

— Не уедешь, не уедешь!—по-детски захлопала она в ладоши и побежала вперед. Абрашка погнался.

Тяжелая одышка кольцом сдавила ему горло и он, нагнав Дуську, начал взволнованно ерошить волосы.

— Устал, Абрашка. Мы пойдем тише.

Они шли по окраинам улицы и, не замечая весенних луж, скрытых темнотой, долго и звонко смеялись.

Дуська, счастливая его успехом, весело шутила и первая заливалась смехом, который вот еще теперь, столько времени спустя, стоит у него в ушах.

— Абраша, какое несчастье! Тебе даже нельзя задрать нос. Ну, попробуй, попробуй! Нельзя, нельзя! Он и так большой.

На пожарной каланче два раза глухо ударили в колокол, когда Абрам проводил Дуську до ворот и, захлопнув за ней калитку, пошел домой. Спать не хотелось. Последние дни экзаменов потребовали столько напряжения, что он только сейчас впервые ощутил приход весны.

Весенний дождь точно пробудил к жизни скучавшие сады, и над городом пряным туманом плыл запах озеленившихся деревьев и рано распустившихся цветов.

Абрам нарочно замедлил шаг и удлинил себе путь путаным клубком в переулке.

— Завтра напишу Яше. Он разведет руками и не поверит. Нет, это в самом деле чудесно! Абрашка Крейнис—сын уманьского водовоза и вдруг—педагог! Можно ли этому поверить?

Вся его двадцатилетняя жизнь протекала в Умани. Отец, загнанный на Украину пресловутым законом о черте оседлости, жил одной мечтой—в Америку. Эта мечта преследовала его во сне, во время молитвы, с ней он вставал и с ней же ложился. Даже свою иссохшую, с вывалившимися зубами клячу, он звучно называл „Нью-Йорк“. В 1918-19 гг., когда Умань, как мяч в руках игроков, стала перелетать от одного к другому, надежда попасть в Америку начала гаснуть. Однажды во время уличной перестрелки, кляча „Нью-Йорк“, невзирая на опасность, потянулась к реке, но шальная пуля наказала ее за эту смелость, и кляча замертво грохнулась на землю. Это до беспамятства потрясло сгорбившегося водовоза. Через день он, вместе с матерью Абрама, нашел еще более трагическую смерть.

Маленький Абрам помнит широкое лицо гайдамака с перерезанной губой, в густой меховой папахе, который однажды под

вечер вошел к ним в дом. Отец сидел с молитвенником за столом, он даже не взглянул в сторону вошедшего.

Гайдамак был явно пьян. Переступив порог, он качнулся. Отец продолжал читать слова израилевой молитвы, по привычке подпевая последние слова.

— Так что говорили мне, что есть у вас красный сын,— Яшка или Мишка,—сказал гайдамак и ухватился за печь, чтобы не упасть. Ему не ответили.

У матери вытянулись от испуга глаза, и она, посмотрев на отца, взволнованно заговорила по-еврейски:

— Мойсей, но ответь же ему! Ответь ему что-нибудь! Пусть он уйдет отсюда, я боюсь.

Но отец продолжал сидеть и, покачиваясь, шептал непонятные слова молитвы.

Страшное произошло внезапно. Гайдамак, тяжело перебирая сплетающимися ногами, подошел к столу и вырвав грязной лужей на чистую скатерть, замахал над головой водовоза револьвером с длинной рукояткой.

Маленький Абрам бросился к окну просить помощи, а побледневшая мать, взвизгнув от испуга, пыталась поймать за локоть руку опьяневшего гайдамака, умоляя его убрать револьвер. Но было поздно.

Неуверенно и почти не целясь, гайдамак с пересеченной губой нажал на курок, и отец, как сидел за столом, так и застыл за книгой. Только наклонился ниже, приткнув голову к самому столу. Мать, обезумев от горя, повалилась без сознания на пол. Гайдамак, не подымая револьвера, выстрелил и в нее. Абрам помнит сгустки крови на шее матери и онемевшие, не утратившие выражения ужаса, глаза ее.

Даже два совершенных его пьяной рукой убийства не отрезвили продолжавшего переплетать косившимися ногами гайдамака.

— Я инструктор, я буду учить ребят в плотничьем цеху, а они даже не порадуются успехам сына водовоза,—подумал Абрам, засыпая в счастливый вечер выпуска.



— Умань, Умань!..—снова это слово точно укололо его.

— Неужели и на эти полчаса вернулся сон, удивленно подумал Абрам, протирая глаза. Горнист набирал последние ноты

утреннего сигнала. Солнце уже вышло одним краем из-за вещевого склада и заблестело на штыке у часового.

В выходной день подъем был позже на час, и солнце точно укоряло бойцов в этом.

Абрам мельком взглянул на койки товарищей. Кирилла Цыганок—в противоположность фамилии, светловолосый и синеглазый,—окунулся в гимнастерку. Саакьян Петушинский—широкогрудый башкир—протягивал длинные руки к сапогам.

— Запаздываю,—мелькнуло у Абрама, и он, сокращая движения, начал быстро одеваться.

Самое трудное Абрам сейчас сделал легко, без натуги и быстро.

Впервые он покинул Умань ради армии. Это был первый в его жизни выезд в большой город, в новый мир.

Ехал он без боязни, но где-то в глубине его угнетало и мучило то, что никогда до сих пор не стрелял, что шум выстрелов его пугал. Он бледнел в ожидании резкого звука, а при самом выстреле зажимал уши или отбегал в сторону. Он был слаб и от этого вял в беге. Ему это состояние казалось унижительным. Он не верил в свои силы, в себя. Это и угнетало и пугало. Ему почему-то казалось, что из части его обязательно отошлют. Такое состояние привело Абрама к молчаливости и замкнутости. Товарищам он показался непонятным и скрытным. Ближе всего Абрам сошелся с Саакьяном Петушинским. В противоположность ему тот был необычайно силен. Сила отдавалась в каждом его шаге, но Саакьян был неуклюж, неповоротлив. На полевом городке они только вдвоем и не смогли сразу же перепрыгнуть через канаву. Абрам, преодолев страх, разогнался. В минуту прыжка ему стало душно. Он ослабил разгон, прыгнул, потеряв расчет, и оказался внутри канавы.

Не меньшую неприятность пришлось пережить и в полковом тире, когда он в первый раз попал туда. Почему-то каждый шаг в этой высоко огороженной местности ему казался небезопасным. Он с тревогой оглядывался по сторонам и удивлялся беспримерной, по его мнению, храбрости показчиков, которые скрывались в блиндаже возле мишеней, куда градом сыпалось столько пуль.

После первого выстрела он вздрогнул и хотел отойти, но постепенно стрельба стала привычной, и ощущение страха миновало. Вера в свои силы, возможно, сама так скоро и не пришла бы, но ему ее внушили.

Однажды, когда окончился учебный день и бойцы разошлись кто в клуб, кто в уголок, а младший командир Дергай подсел со своим баяном к распахнутому окну, дежурный позвал Абрама к политруку. Потом эта беседа с политруком Навальницким надолго запомнилась ему... Крейнису казалось, что все эти трудности, которые переживает он, никому неизвестны. Все это глубоко запрятано в нем и что вообще до этого никому никакого дела нет.

Абрам вздрогнул и начал задыхаться от волнения, когда политрук стал ему спокойным голосом, осторожно подбирая слова, рассказывать о случаях, возможных в армии, о том, как она перековывает людей, не только духовно, но и физически... Политрук улыбнулся и начал вспоминать первые дни своей службы:

— Вы знаете, я из рядовых. Шорник. Сшить ремни, пасы,— это я мог, но силушки у меня тоже было немного. Стараюсь, из кожи лезу, а в походе пристану. На физкультурном празднике спрячусь в уголок, как бы, неровен час, не попасться на глаза, и с завистью смотрю на прыгунов, на футболистов.

Крейнис забыл о том, что он в комнате начальника, о том, что вызвали его сюда через дежурного и, видно, политрук ради него только и остался здесь.

Почувствовал себя легко, ему стало понятно, почему политрук так быстро разгадал его мысли.

— Ну, идите, Крейнис. Вы знаете, я помню вас во время приезда к нам. А сейчас посмотрю, и не узнешь,—вы это, или не вы. Окрепли.

Крейнис смущенно начал поправлять боковые складки на гимнастерке.

Письма от Яши приходили с большой аккуратностью, и Крейнис заранее мог угадать день и даже час, когда на его тумбочке будет лежать большой конверт с адресом, выведенным крупными размашистыми буквами, на которые, казалось, был способен один только Яша. Он не видел брата несколько лет, но и по этим письмам ему нетрудно было проследить, как изменился и вырос Яша. Письма шли из Москвы, и Абраму, когда он читал их, казалось, что Москва во всем величии разворачивается перед ним. Яша писал обо всем. О троллейбусах, недавно пущен-

ных по Москве, о парадах на Красной площади, которые трудно забыть даже состарившись:

„Понимаешь, Абрам, когда я в мощном потоке колонн попадаю на Красную площадь и, конечно, до боли задираю голову направо, где всегда железно спокойный стоит он, мне не верится, что это я. Я начинаю себя щипать за руку, точно чтобы очнуться от сна“... Яша заботливо расспрашивал в этих письмах о самочувствии, интересовался успехами в стрельбе. Однажды в коротенькой приписке он сообщил: „Знаешь, Дуська в Москве. Правда, я ее не видел, но мне передавал дядя Гиршл. Гиршл дер солдат. Помнишь ли ты его? Кстати, дядя просил твой адрес. Возможно, Абраша, ты от него скоро получишь несколько слов“.

Дуська в Москве. Дядя Гиршл напишет. Нет, положительно нет терпенья ждать! Скорее бы! Гиршл дер солдат. Абраша был совсем маленький, когда евреи Умани провожали дядю Гиршла на войну. Совсем непонятно, почему женщины столько плачут. Им всегда только подай хоть бы маленький повод, и они так распустят глаза, что слезы пойдут, точно вода в половодье. Но тут даже и маленького повода нет. Дядя Гиршл не умер. Вот он стоит совсем живой, только немного бледнее, чем всегда. На дяде какой-то странный костюм с горящими пуговицами и противная серая шапка. Шапка не нравится маленькому Абраше. Она, как у барана шкура, лохматая и неприятная.

— Мама, почему ты плачешь? Дядя Гиршл, что сегодня — кипур (судный день)? Дядя Гиршл (с этой минуты он получил казенную обезличенную кличку — николаевский солдат), берет его на руки и нежно гладит:

— Плачут, потому что дуры. Но дай бог, чтобы когда ты подрастешь, тебя уже не приходилось оплакивать.

Только много лет спустя Абрам понял страшное значение слов „царская война“.

Они пришли с выхода обветренные, запыленные, усталые. Во время длинного перехода каждая верста имеет свое значение. Начало пути середину преодолеваешь почти незаметно. Хуже всего под конец, когда плечо начинает уставать от ремня винтовки, и шаг часто делается неуверенным, точно идешь по топкому месту. Последние две-три версты походного марша для

Абрама постоянно были мучительней всего. Сдаться, попросить помощи, передать товарищу винтовку. Нет, нет! Ни за что! И он, собирая последние силы,—не выходил из колонны. Но сегодня Абрам дошел легче обычного. Под конец начала подбираться усталость. Ноги будто оторвались от тела и стали не послушными — неужели сдаю? Почему Петушинский, почему Цыганок идут точно ни в чем не бывало?

— Песню, песню!..—кричит Абрам, не узнавая свой голос. Он первым подхватывает запевалу, песня вливает силы. Шаг становится крепче. Еще песню, еще!—не унимается Абрам.

Когда они, перестроившись попарно, входили в распахнутые двери казармы,—дневальный помахал перед Абрамом письмом.

— Крейнис, поплясать хватит силы?

— Хватит, заводи патефон,—шуткой отделался Абрам.

Письмо было от дяди Гиршла.

„Не стал ли ты георгиевским кавалером, или, может быть, ты с полной выкладкой и песком в сумке постоял четыре часа под ружьем?“

— Что это; он с ума сошел, этот дядя Гиршл? А, это—шутки!

„Читай, читай, Абраша, я чувствую, как твое лицо вытягивается в недоумении. Это я просто сделал маленькую экскурсию в прошлое. Яша мне рассказывал; что ты служишь. Дай-ка,—думаю, напишу племяннику—вояке. Кстати; Дуська в Москве. Она остановилась у меня и готовит тебе какой-то сюрприз. Меня звали на Умани „Гиршл дер солдат“. В этой кличке не хватало одного слова: „Гиршл дер побитый солдат“. Представляешь себе, Абраша, приехал такой, как я, в часть в 1916 г., во Владимир. За 4 месяца из меня нужно вышколить вояку. Направо равняйся, налево повернись. А что поручику Незванцеву или унтеру Петушкову до того, что я никогда винтовки в руках не держал и, вообще, не вижу смысла, из-за того, что убили какого-то Фердинанда (туда ему и дорога) учиться эту самую винтовку в руках держать? Этот смысл, Абрашенька, мне втолковали быстро. Поручик Незванцев, говорят, сильно увлекался боксом. Я это скоро почувствовал на себе. Унтер Петушков, хотя и не ценил этот благородный спорт, но кулаки имел здоровые, не менее чувствительные, чем у поручика. Есть, Абрам, такое суровое слово, как „каторга“. Хотя я ни в чем и не провинился и меня никуда не ссылали, но я был на ней! Кстати, зачем все это я пишу тебе? Ага, вот он и этот сюрприз. Так, значит Дуська в Москве. Она, как я тебе

писал, остановилась у меня и работает на фабрике. Вчера Дуська пришла неузнаваемо радостная и начала крутить меня по комнате.

— Сумасшедшая, постой, кричу я ей. У меня жена, дети, наконец, у меня больная печень. Мне доктора не позволяют быстро ходить, а она крутит и крутит. „Дядя, я увижу Абрашку, Абрашку“. Крутит и поет. В чем дело, говори толком? Оказывается, их фабрика взяла шефство над какой-то военной частью, и надо же было случиться, что в этой части служишь именно ты—Абрам Моисеевич Крейнис,—в прошлом сын уманьского водовозника, инструктор плотничьего цеха профшколы и, наконец, красный боец. Она выпросилась в делегацию, и скоро мы будем у тебя. При чем же, ты спросишь, старые галоши, то есть я? Чорт подери! Гиршл дер солдат—я, или нет? Да, а раз да, могу ли я посмотреть на своего племянника, на которого не кричит поручик Незванцев, не пробует на нем своих боксерских способностей, а унтер Петушков не крутит его, как манекен в мастерской портного Лазаря Шимшелевича и не кричит ему деревянным голосом:

— И зачем только эту еврейскую расу в армию берут? Мундир батюшки-царя гадят и только.

Всего, Абраша. Целую: (Дуська о письме не знает). До скорого“.



Нет, почему снилась Умань? Неужели они сегодня приедут?

— Ворошиловские стрелки и значкисты, умываться! Завтракать в первую очередь и—на стадион!—громко объявил низкорослый старшина, появляясь у дверей.

Со всех углов посыпались вопросы.

— Зачем, товарищ старшина?

— Шефы приехали, будут соревнования. Участникам надо готовиться,—удовлетворил старшина любопытство.

Крейнис и еще с десятков бойцов быстро закончили уборку своих коек и побежали в умывальник.

— На этом соревновании не меньше, чем на первенство, ведь будет Дуська,—подумал Абрам, споласкиваясь холодной водой.

В ВАГОНЕ

Подошвы еще горят
От крымских горячих гор.
И бронзы загар не смывает—
Лежит на щеках не тронут.
Уже догорает закат,
И я принимаю парад
Знакомых сосновых лесов,
Бегущих навстречу вагону.

Со мной командиры в купе—
Веселых туристов отряд.
Нас солнце и море свели,
А дружбу скрепил санаторий.
Мы песню поем, и припев
Из окон открытых летит
В вечернюю дрему земли,
Смолистую накипь просторов.
С путевкой по горным местам
Экскурсий окончился срок.
Граненые контуры скал
Вторично я в памяти высек.
Вчера Запорожье, Байкал,
Сегодня на Запад—в ПУОКР,
И поезд гремит по мостам,
Как сотни гигантских транс-
миссий.

Товарищ связал саквояж

Смоленск.

Август, 1934 г.

И снова на звонкой зурне
Выводит восточный мотив.
Ему пересадка на Дретунь.
А я открываю альбом,
На карточках—море и пляж!
Любимая ласково мне
Чуть, чуть улыбнулась с порт-
рета.

Туда, где зрачками бойниц
Врастают в тяжелый гранит
Следы партизанских жилищ—
Везет нас безудержно скорый.
Здесь строгость таежных ле-
сов

И строгость советских границ
Глубокие тайны хранит
В бесшумных походках дозо-
ров.

А где-то маячит вдали
Солнце курортных высот,
Все тот-же прилив и отлив
Под небом зеленого Крыма.
И грузно плывут корабли
Куда-то в далекий порт,
И в кубриках, сев в полукруг,
Матросы читают „Цусиму“:

ЗАСАДА

День угасает. Солнце все больше и больше клонится к горизонту и, наконец, скрывается совсем.

Накаленная за день земля жадно впитывает в себя вечернюю прохладу и покрывается легкой испариной.

Через поля, на которых после уборки урожая паслись стада коров, лошадей, ягнят, извивается широкая песчаная дорога, скрывающаяся вдали в лесу.

Слышится одинокий лай собаки, мычанье коровы. Временами короткими очередями врывается трещетка ночного сторожа. Необычным кажется только какой-то посторонний, несвойственный окружающей обстановке, шум, напоминающий отдаленные раскаты грома. Шум все ближе и ближе. Земля начинает вздрагивать. Теперь шум этот напоминает своей равномерностью гул работающей паровой молотилки.

Стада коней и коров, насторожившись, подняли головы.

Вынырнув из зеленой листвы небольшого лесочка, показываются танки. Поля наполняются ревом моторов и лязгом гусениц. Стаи птиц, сорвавшись с деревьев, взвиваются к облакам. Кони, подняв хвосты трубой, со спутанными ногами скачут прочь от дороги. Коровы мечутся на месте, а ягнята, как ошалелые, табуном бросаются через дорогу, обгоняя и натыкаясь друг на друга.

●
Танки вытянулись на дорогу и колонной по-одному пошли к лесу, куда приказано было собраться после атаки пехоты.

Бой был жаркий. Пехота прекрасно укрепила рубеж, выдвинув вперед орудия; батареи в глубине пристреляли заранее возможные для танков подходы.

Крепко пришлось поработать танкистам, прежде чем заставили они пехоту оставить рубеж и отступить.

Водитель комсомольского танка Акишин с удовольствием вспоминает атаку, которую проводила рота в присутствии наркома. Похвалил командир роты экипаж за отличное выполнение боевой задачи, а командир танка—комсомолец Карпенко—получил после „боя“ в награду шеститомник Ленина. Ротная ильичевка „Механизатор“ поместила специальную статью об образцовой работе комсомольского танка.

Воспоминание о прошедшем бое навеяло на Акишина убаюкивающие мечты. Вот сейчас остановка, осмотрят машины, заправятся горючим. Уже чудится приятный запах консервированного мяса.

Наступила осенняя ночь, покрыв густым мраком дорогу, поля, лес. Лишь вдали зажглись одинокие огоньки в крестьянских избах. Они как будто повисли в воздухе.

Вдруг ночь внезапно заговорила.

Бах, бах, бах...—разорвало воздух.

Опушка леса осветилась вспышками огня и зазвучала глухими ударами, шумом моторов, сплошным гулом.

Засада... Эта догадка пришла не сразу—так неожиданно сложилась новая обстановка. Акишин быстро захлопнул люк. Сзади, в башне—командир. Он молчит. Что делать?

На танки, беспечно идущие к сборному пункту, обрушились из засады в развернутом боевом порядке прекрасно вооруженные, быстроходные танки „противника“.

Командир танка Карпенко, как и Акишин, сообразил, что дело плохо. Бросив взгляд на местность, он уловил идущий впереди танк командира.

— Акишин, влево, давайте третью... Газ, да четвертую живей!

— Есть влево!

Машинально работают руки рычагами управления. Чувствует Акишин, что танк на повороте сбавляет обороты—прибавляет газ, переводит рычаг перемен передачи скорости на вторую и третью. Танк быстро понесся по полю.

— Ориентир—впереди идущая машина,—кричит в самое ухо Карпенко.

Гремит танк. Бросает его из стороны в сторону. Стучается о стенку лбом Акишин. Взглянул на манометр—стрелка манометра показывает нагрев 93°.

— Полетят подшипники, — тоскливо думает Акишин. — Эх, мать честная, вот тебе и образцовый комсомольский танк. — И невольно нога сбавляет газ. Уменьшается скорость, и слышно, как сзади все ближе и ближе режут моторы наседающих танков „противника“.

— Догонят, заберут в плен, — молнией вспыхивает в голове, и Акишин снова ставит четвертую передачу, дает полный газ. Надо оторваться от „противника“.

Темно и тихо. Командир приказывает остановить машину. Экипаж без шума вылезает из танка. Люди, затаив дыхание, прислушиваются. Ни звука, как будто все вымерло кругом.

Молчание нарушает командир.

— Сейчас важно, пользуясь темнотою, спрятать танк, чтоб следов не осталось. Седов, пойдите влево, прощупайте местность. Я пойду вправо, Акишин останется здесь. Связь поддерживаем тихим свистом.

— Есть, товарищ командир.

Акишин остается один. Чутко прислушивается к ночным шорохам, настороженно всматривается в темноту.

— Кто его знает, может „противник“ близко, — думает он.

Минут через пятнадцать с обеих сторон от танка слышится одновременный тихий свист. Акишин отвечает таким же тихим свистом. Из мрака выдвигаются Карпенко и Седов.

— Слева — болото.

— Справа и спереди — лес.

— Танк замаскируем, утром разберемся, а сейчас заводи, — отдает распоряжение командир танка.

Мотор работает на трех цилиндрах. Сильно слышен посторонний звук в моторе. Акишин осторожно включает сцепление, и танк с надрывом трогается с места.

Везжают в лес. Темно кругом.

Ползают люди, шарят по земле руками. Изредка слышится шопот:

— Кусты, кусты поднимай.

— Не ломай сучья.

— Акишин, поднимите по следу траву.

— Есть поднять траву, — шопотом отвечает Акишин и продолжает работать.

Отчаянно ломит спину, зверски хочется есть, но экипаж усердно работает. Надо замаскировать машину так, чтобы утром ни одна живая душа не смогла ее обнаружить.

Убедившись, что танк действительно спрятан, Карпенко решает, что можно и за консервы взяться, а там—отдыхать до утра.

Проснувшиеся с рассветом Акишин и командир башни Седов с удивлением обнаруживают исчезновение своего командира.

— Не иначе, на разведку пошел,—высказывает свое предположение Акишин.

— Да вот и командир,—вскрикивает Седов, завидя подходившего к ним Карпенко.

— Ну, как?—почти в один голос спрашивают оба.

— Все в порядке, следов не видать, танк замаскирован хорошо.

— А стоим-то мы где?—с нетерпением спрашивает Седов.— Где мы?

— Наши километров за сорок отсюда, а стоим в лесу, западнее деревни Вальки. Что с машиной?

— Раскрошился четвертый поршень. Мотор вынимать надо, отвечает Акишин.

— Вот тебе и раз. Не выполнили, стало быть, соцобязательств, взятых в честь приезда наркома,—вздыхает Седов.

— Да, теперь уж нечего и думать о подписи рапорта наркому.

— В мастерской снять мотор и заменить поршень—пустое дело, а здесь часов тридцать провозимся,—ворчит Акишин.

— Да поршень-то где взять?—раздраженно спрашивает Карпенко.

— Поршень в машине возьмем,—невозмутимо отвечает водитель.

— Техник меня предупредил, что наш поршень поизработался, вот я и прихватил другой на всякий случай.

Ни слова не говоря, Карпенко и Седов бросаются к танку, торопливо раскидывают сучья, откидывают крышку и—в машину. А там, аккуратно завернутый в тряпку, лежит новенький поршень.

Боясь потерять хотя минуту времени, экипаж быстро принимается за работу. Лихорадочно отвинчиваются гайка за гайкой, болт за болтом. Поднят первый лист брони, за ним второй. Когда снова начинает темнеть, мотор вынут и лежит на дне танка.

Предстоит самое трудное: поднять мотор, не имея тали, заменить поршень и снова поставить мотор на место. Все это не раз делал экипаж в мастерской, но вот сейчас, в лесу, без необходимых приспособлений никто не знает, как это сделать.

Акишин думает крепкую думу. Вопросительно смотрят на него Карпенко и Седов. Знают, что механик у них опытный, на заводе работал, должен придумать.

Молча с'едают последнюю банку консервов и, глянув друг на друга, полушутя, полусерьезно вздыхают: есть хочется еще.

Ложатся. Не спится Акишину. Молча глядит он на звездное небо и думает: где достать таль? чем ее заменить? Седов глубоко вздыхает и поворачивается с боку на бок. Карпенко тоже не спит.

А в небе из-за облаков временами показывается луна и, будто спрашивает, ехидно улыбаясь: „Что, комсомол, попал?“

— Неправда, найдем выход!—не сдается Акишин и сердито поворачивается на другой бок, чтобы не видеть ехидной луны.

Долго лежат. Наконец, кашлянув, Акишин спрашивает:

— Товарищ командир танка, лом у нас есть?

— Есть.

— Цепь, кажется, тоже была?

— Ясно, была,—угрюмо отвечает Карпенко.

— Ну, значит, таль нашлась!—радостно кричит Акишин. Карпенко и Седов вскакивают. Акишин, волнуясь и путаясь от радости, объясняет.

— Лом пристроим к двум деревьям, на лом посадим каток от танка, а по катку пустим буксировочную цепь—вот тебе и таль готова. А чтобы цепь не срывалась от тяжести мотора, раза два обмотаем вокруг дерева.

Последние слова Акишина покрываются радостными возгласами:

— Уйдем, вот, ей-ей, уйдем из-под носа „противника“!

Трое стоят у машины, потягиваются, разминая усталые руки и тело. Ремонт закончен. Мотор поставлен на место с новым поршнем. Танк закрыт весь броней. Осталось только опробовать работу мотора и, если все будет в порядке, двигаться на соединение со своими.

Карпенко после трех суток тяжелой работы по ремонту

танка в полевых условиях в тылу у „противника“, при отсутствии горячей пищи, весь вытянулся. Акишин тоже похудел, а у Седова глаза глубоко провалились. Но все они переполнены чувством гордости за сделанное.

— Заводи,—отдает приказание Карпенко.

— Есть, товарищ командир, заводить,—вытирая рукавом гимнастерки мокрое от пота лицо, отвечает Акишин.

— А вдруг не пойдет?—тревожится Седов.

— Пойдет, должен пойти,—уверенно отвечают оба, водитель и командир.

Поворот рукоятки, другой. Вспышки. Короткие вздохи мотора, и он заработал, нарушая тишину леса.

Прислушиваются трое к работе мотора. Прижимаются головой к броне, настороженным ухом пытаются уловить малейший посторонний звук в моторе, перебои. Но мотор работает как часовой механизм: ровно и с легким звуком.

— К танку... садись!—слышится команда командира.

Километр за километром остаются позади. Не спускают глаз с местности Карпенко и Седов. Наблюдают, что творится кругом.

Слышится совсем ясно пулеметная и артиллерийская стрельба. Можно даже отличить стрельбу гаубицы от трехдюймовки. Линия „фронта“ где-то здесь, совсем рядом.

— Стой! Маскируй машину!.. Седов, за мной, на разведку,—вылезая из башни, коротко бросает Карпенко.

Пробираются густыми травами к высоте. На бугор—ползком.

Доползли. Впереди виднеются люди, скачут верховые, несколько ближе заметна артиллерийская позиция. Припоминает Карпенко, что удаление огневых позиций от переднего края обороны—полтора-два километра.

— Стало быть, наши не дальше десяти километров. Надо ждать. Двигаться дальше опасно.

И поползли обратно.

Танк заводят глубоко в лес, несколько раз обходят его кругом и выходят на опушку леса посмотреть, видать или нет. Затем Карпенко приказывает Седову забраться на дерево и наблюдать за местностью, а сам вместе с Акишиным—снова в танк.

— Артиллеристы снимаются,—кричит сверху Седов. Через некоторое время снова доносится с дерева: „Показалась пехота, „противник“ отходит“.

Солнце снижается. Приближаются сумерки. От земли поднимается густой туман. На дороге показываются отходящие обозы, повозочные торопливо понукают лошадей. Справа и слева по опушке суетятся телефонисты, связные. Линия „фронта“ откатывается назад все быстрее.

Скачет батарея. На поляне перед лесом она быстро разворачивается и открывает огонь по показавшейся пехоте „красных“.

— Эх, вот садануть бы по ней,—мелькает соблазнительная мысль. Но каждый знает, что, преждевременно обнаружив себя, они ставят под угрозу выход танка к своим. Да и что можно сделать с одним танком в тылу у „противника“?

Издалека доносится все нарастающий гул. Привычное ухо узнает шум танковых моторов.

— Товарищи, танк, второй... Наши танки атакуют тылы „противника“,—валится с дерева Седов.

Ясно слышится стрельба пулеметов и орудий из танков.

Быстро в машину. Поворот пускового механизма. Первая... вторая... газ до отказа—и стрелой из леса на поляну, прямо на батарею. Удар, второй. Пулемет заливается. Танк на орудие. Артиллеристы „противника“, думая, что танки их окружают, в спешке снимаются с позиций.

Карпенко меняет курс машины и ведет ее прямо по фронту.

— Напоролись мы, стало быть, на засаду, потому что шли на сборный пункт без разведки. Хорошо, что сумели спрятаться, да запасный поршень оказался, а то бы пропала машина и быть нам в плену. Да и роте позорно, что комсомольский танк свое обязательство не выполнил,—рассказывает Карпенко окружающим его товарищам, после „боя“.

К группе бойцов подходит командир роты. Карпенко оправил замазанную гимнастерку, зачем-то надвинул на лоб фуражку и подошел к командиру.

— Товарищ командир, танк, оторвавшись от своих после „боя“, вынужден был остановиться. Расположился в тылу у „противника“. После восстановления материальной части со всем экипажем с боем пробился к своим на соединение.

Улыбается командир. Видел он „бой“ танка с батареей, помогла машина своим лихим налетом выполнить боевую задачу. Знает он, что не так просто восстановить танк в боевой обстановке без приспособлений, без необходимого инструмента, при отсутствии опытного техника да еще и без нормального питания в течении трех суток.

Командир ласкает взором комсомольцев-танкистов, крепко жмет руку командиру танка Карпенко и говорит:

— Вот, товарищи, пример ударной, образцовой работы танкистов. Мы с политруком решили представить комсомольский экипаж на право подписи рапорта наркому. [От лица службы всему экипажу товарища Карпенко об'являю благодарность.

— Служим трудовому народу!—дружно, как один, ответил бравый комсомольский экипаж.

НИК. ДУДИН

БОЕВЫЕ ЗНАМЕНОСЦЫ

По степям, да по курганам,
По тайге глухой
Грохотали барабаны,
Звали в бой.
И летел тяжелый топот
За Урал и под Ургу,
Сняли мы под Перекопом
Голову врагу.
Нас вели победоносно
В холод и в дожди
Боевые знаменосцы—
Партии вожди.
И тогда, когда знамена
На ветру горят,
Выступают батальоны
На парад.

Это—юноши, которым
Испытать не довелось]
Бури, огненные штормы
И архангельский мороз.
Это юноши-ребята—
Нашей молодежи цвет,
Им положено по штату
Полной глоткой петь.
Если бросит клич по свету,
Позовет на бой
Капитан Страны Советов,
Славный рулевой,—
Будут с нами знаменосцы,
Выйдут все вперед;
Партия победоносно
К бою поведет.

ОГОНЬ

(Отрывок из пьесы)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Петров—командир взвода.
Сергеенко—командир взвода.
Паляница—командир эскадрона.
Гусаков—командир полка.
Красноармейцы и младшие командиры.

АКТ I. КАРТИНА 2.

Ранняя весна. Полковое стрельбище. Звуки сигналов „Огонь“ и „Отбой“.
Слышны выстрелы.

Голоса за сценой:

— Красноармеец Сидоров третью задачу выполнил на „хорошо“!

— Красноармеец Понюшкин третью задачу выполнил на „отлично“!

— Красноармеец Ничипоренко третью задачу выполнил на „отлично“!

— Красноармеец Ладутько третью задачу выполнил на „удовлетворительно“!

— Что-ж это вы, товарищ Ладутько, с „удовлетворительно“ с'ехать не можете?

— Так что винтовка, товарищ командир эскадрона...

— Нет плохого оружия, есть плохие стрелки.

На сцену выходят Петров и Сергеенко.

Петров: И говорю я тебе, Сергеенко, твой метод неправильный. Этим не возьмешь—стройся на стрельбу! На стрельбу—шагом марш! Так и останешься—марш, м-а-р-ш. И стрельба вся марш. Прежде чем марш, надо кой о чем еще подумать.

Ведь ты со своим взводом, да еще Тебеньков в пулеметном эскадроне на особом учете в полку.

Сергеенко: Ну что-ж я сделаю? Ты бы хоть понял, по-товарищески, брат! Ну что я сделаю, когда у меня бойцы во взводе подобрались...

Петров: Э-э, ты брось, „бойцы подобрались“. Я тоже так думал раньше...

Сергеенко: И комэск гоняет, и комполка гоняет. Раньше как-то в массе общей и незаметно было...

Петров: Ишь ты, захотел, чтоб незаметно было...

Сергеенко: Взвод же один в полку, рассосаться только бы...

Петров: Учет, браток, у-ч-е-е-т... Это тебе не два года назад. Скоро каждый боец по своим стрелковым качествам на учете у начальника штаба будет, и если кто плохо стреляет—весь полк знать будет, пальцем на такого бойца все указывать будут. Это, братец, и есть индивидуальный учет.

Сергеенко: Да куда-ж деваться? Смотр скоро, а тут стыд на глаза показываться. Ну что я сделаю, не вложу ж я душу в красноармейцев?..

Петров: Что?.. Душу?.. Вот именно вложить надо душу. А скажи-ка, как ты нынче сам стреляешь-то?

Сергеенко: Сам-то...

Петров: Да, сам-то.

Сергеенко: Ммм... сам-то... вроде удовлетворительно...

Петров: А без вроде...

Сергеенко: Смотря по тому, из чего...

Петров: Знаешь что, Сергеенко, слышал ты заповедь—„помни день субботний“?

Сергеенко: Вроде как слышал.

Петров: Так вот помни день субботний, то, бишь, шестой—день великий, выходной—чтобы гулять в тот день не позже двадцати четырех часов, а в остальные дни голову к земле пригни и работай, да поменьше сапогами в шпорах по городу ботай.

Сергеенко: Ты это к чему?

Петров: К тому... Сам знаешь к чему. Много гуляешь, подготовке боевой мало внимания уделяешь. Ты вот да Тебеньков—снайперы по бабам. Был бы я командиром полка, вы бы у меня из гарнизонной гауптвахты...

Сергеенко: А сам ты не гуляешь?

Петров: Гуляю, гуляю, Сергеенко, гуляю да вот дела, а особенно дела огневого, дела стрелкового не забываю.

Сергеенко: А иди ты... Помог бы... Читать проповеди вы все мастера. То командир полка вызовет, то комэск, а тут еще ты включился в перекличку...

Петров: Скажи спасибо, что еще вызывают. Могут и не вызывать, и сам не рад будешь... Это у тебя что в руках?

Сергеенко: Список взвода.

Петров: А ну, дай (*берет список*). Скажи-ка, Сергеенко, как у тебя стреляет красноармеец Бондарев?

Сергеенко: Какой Бондарев? Ага, Бондарев (*полез в полевую сумку*), Бондарев... сейчас...

Петров: Ну, я пошел, пока бывай...

Сергеенко: Постой, ты-ж спрашиваешь, как стреляет Бондарев, сейчас скажу...

Петров: Не скажешь...

Сергеенко: Да ты, Петров, смеяться что-ли вздумал?..

Петров: Говорю серьезно тебе, что, хоть и записаны у тебя в тетради отметки Бондарева, а как он стреляет, не скажешь...

Сергеенко: Почему?!!

Петров: Потому, что не знаешь!

Сергеенко: Да ты...

Петров: Да—я... Раз ты лезешь в полевую сумку за Бондаревым, не знаешь этого напамять, ты не знаешь своих Бондаревых—своего взвода не знаешь! Не удивляюсь, что они у тебя мажут... А отсюда вывод—плохо готовите свой взвод, тов. Сергеенко, да... И не только взвода вы не знаете, а и себя тоже. И на весеннем инспекторском вам трудно будет, Ванечка, ох, как трудно, а до смотра осталось недель меньше, чем на одной руке пальцев. Нажимай, друг, на педали, а не то получишь на медали...

На сцену под командой младшего командира выходит группа бойцов.

— Ать, два, три, четыре! Группа, стой! Составить винтовки! Мушка осторожно! Отдохнуть можно!

Разговоры среди красноармейцев.

— Совсем, ребята, тепло стало.

— Весна. Ишь, солнце-то—растопиться готово.

— А дома, дома-то хорошо сейчас!

— Смотрите, ребята, вон подсобное пашет, чорт, трактор неровно ведет.

— Эй ты, тракторист квалифицированный, перед собою смотри! Межи тебя выкраивать что-ли посадили на трактор?

— У нас, на Кубани, что сейчас в станице, в Красноармейской, делается. Тракторы гудут.

— Хороший, братцы, у нас колхоз. Нынче осенью заявился—так, мол, и так, привимайте старые, проверенные кадры, укрепленные боевой выучкой.

Эх, конь вороной, не качай головой,
Ты лети на Дон домой
Прямо в тракторный строй...
Эх, конь вороной, золотая грива...

— Ты, Петренко, песни не ломай, свои слова какие-то выдумываешь...

— А если мне так больше нравится...

Эх, конь вороной, не качай головой,
Ты лети, лети на Дон...

— Эх, братцы, сплясать бы что-ли! А ну, Литовченко, рвани...

— И-и, тприцам та, тамта тира, тарарай та, тартар дам...

(Танцуют).

— Хорошо в такую погоду стрелять!

— Стрелять хорошо в любую погоду.

— А все-таки в такую лучше.

— Люблю я стрелять.

— Ишь ты, выдумал, любит, стрелять. А кто же не любит?

— Есть такие, что и не любят. Ты вон наш третий взвод возьми, там стрелять не любят. А я люблю. Возьмешь это в руки винтовку, а она как будто живая, псет, прямо чувствуешь—поет. Сыграет тебе трубач вступление—и замрешь ты на земле, не дышишь, вопьешься в мушку, в цель и не чувствуешь, как пальцем спустишь крючок. Запоет, как скрипка, выстрел, и сердце рвется вперед пули к мишени. Не дожدهшься отбоя, к мишени идешь, дрожишь... Ей-богу, братцы...

— Ну, ну, знаем, знаем...

— Дальше...

— Прямо бы вырвался из строя, бегом бы...

— Ну, ну...

— Подходишь с замертым сердцем...

- Не замертым, а с замирающим...
- Не перебивай...
- И смотришь...
- Ну, ну...
- А там три дырки. Да надо понимать—какие дырки. Кругленькие, аккуратненькие, с краев ровненькие. Как карандашиком обведенные.
- А где эти дырки-то...
- Одна в семерке... одна в... восьмерке... и третья в...
- Ну, ну...
- В девятке...
- Эх, хорошо-о.

Входит группа бойцов под командой младшего командира.

- Ну, ребята, как постреляли?
- Как постреляли, так и постреляли.
- Секрет, что-ли?
- Секрет...
- Товарищи, слушайте результат соцсоревнования по сегодняшней стрельбе.

Эх, конь вороной, золотая грива,
Ты лети на Дон быстрее...

- Тихо там...
- Первый взвод выполнил третью задачу на „хорошо“, а третий опять неудовлетворительно...
- Почему опять? Мы еще не соревновались...
- Тем хуже. Позавчера у вас тоже неудовлетворительно было.
- Та мы же позавчера не соревновались.
- Вам от этого не легче.

Собирается комсостав.

- Смирно!!!

На сцену выходит комполка Гусakov.

Гусakov: Итак, товарищи, инспекторская проверка на носу. Стреляем мы, я не хочу вас перехваливать, но и не желаю недооценивать, как будто ничего. Если так пойдет и дальше, все будет хорошо. Но есть у нас два слабых места отстающих. Два взвода в прорыве в третьем эскадроне, да пулеметчиков взвод. Я с ними сам под займусь. Ты, товарищ Паляница, мне тоже можешь. Ты и так мне много помог, но еще можешь.

Паляница: Есть, товарищ командир полка.

Комсостав расходится.

Петров: Товарищи, я предлагаю третий взвод на причал взять.

Сергееenko: Да что меня причаливать, я сам...

Петров: Поздно самому-то... Так вот, товарищи красноармейцы, поскольку мы стреляем почти все хорошо, а третий взвод засыпался, должны мы его в порядке товарищеской помощи...

Сергееenko: Эх, товарищи, хотел бы я хорошо стрелять, и хочу стрелять, а вот как станешь стрелять... И целишься, и стараешься, и не дышишь, а к мишени-то подойдешь, еле пули в щите соберешь... конфуз...

Петров: А вот мы вам и поможем в кучу пули посадить.

Сергееenko: Я с завода письмо получил. Все товарищи на заводе на нашем, на „Серпе и Молоте“, ворошиловскими стрелками стали, а что ж я приеду, два года прослужил, а стрелять хорошо не научился.

Петров: Значок заработать поможем. Всем поможем. Товарищи бойцы первого взвода, предлагаю значит, взять шефство над третьим взводом, в порядке индивидуального прикрепления хороших стрелков к плохим. Прикрепление произведем мы с товарищем Сергееenko. Согласны?

Бойцы: Согласны! Давно бы надо.

Сергееenko: Ей-богу, стыдно. Да как же мы себя так опозорили!

Петров: Пока еще не опозорили, а отстали. А вот если на инспекторской засыплетесь—тогда позор. Итак, товарищи, ликвидируем стрелковый прорыв третьего взвода. Но чтоб это было не на словах, а на деле, под личную ответственность каждого хорошего стрелка.

— Даешь!!!

Эх, конь вороной, золотая грива.

ЗАНАВЕС.

БАЛЛАДА ОБ ОНДВА

По откосам, между сопок,
К солнцу на восток,
По пути, по снежным тропам
Стелется дымок.

Между сопок по откосам
Ветерок подул.
Паровозные колеса
Разговор ведут.

Вдруг навстречу паровозу,
Прячась в гаолян,
На грабеж с бандитским сбродом
Вышел Суэ-Лян.

И в тайге, что звонко пела
В ветках елок-вех,
Пуля песней зазвенела,
Ввинчиваясь в снег.

Под огнем пути дрожали,
Охала земля,
Лужи крови замерзали
На седых полях.

И взметнувшись голым телом
В солнечную высь,
Шашка звонкая алела,
Опускаясь вниз.

И опять взлетала—сразу
Опускалась, злясь.
Голова катилась на землю,
Бомбою дымясь.

И не даром в знойной व्यюге
Закружился враг,
Знать посеял славный Блюхер
Средь бандитов страх.

Бурей красною смахнули
Банду в океан,
И со штабом под Манчжурией
Сдался Суэ-Лян.

Песню тянет запевала
Под таежный звон.
Ночь события записала
На холсте времен.

К Л А Д

Рассказ

Вагон с известью для военно-строительного участка блуждал в дебрях железной дороги. Пока пять агентов безуспешно отыскивали пропажу, на постройке Дома Красной армии вышла вся известь. Об'ект, до сих пор катившийся на мотоцикле, пересел на черепаху.

В обеденный перерыв на производственном совещании, которое рабочие называли бегучим, бригадир штукатуров Лисенко—низенький человек с вечно красным лицом и седыми усами, произнес горькую речь.

— Вот уже второй день мы работаем, как спящие. А, ведь, мы не купцы какие, мы, родимцы, рабочие, мы спим и во сне кельму или рубанок видим. Рабочему ни гудок, ни время ништо, ему работа мила; нам же по рукам бьют и грязью в глаза кидают.

— Дайте нам ход! (Лисенко потряс руками). ДКА надо кончить к Октябрьскому празднику, а я завтра сажусь на скамеечку. Задание в кармане, договор в кармане, а материалов нет.

— Дайте нам ход!—снова крикнул бригадир, и лицо его покраснело еще больше.

Молодой начальник, одетый в шинель с черными петлицами, только что приехал на смену старому руководителю. Он распорядился о немедленной посылке человека на соседний участок за известковым займом.

— Ничего из этого не выйдет,—говорил Лисенко широкоплечему землекопу Амельчене, направляясь с ним на работу. Ведь как шло дело? На всех парусах. Теперь же и малярам выходит задержка и слесарям тормоз. Не сдадим ДКА, нет, куда нам. Оставим ребят без клуба.

Если б Лисенко попросил Амельченю сделать канаву или насыпь, лопата товарища была бы к его услугам. Но в известковой беде землекоп помочь не мог и ограничился поэтому сочувственным замечанием:

— Скажи, пожалуйста, какое скверное дело.

Лисенко стоял в дверях здания, глядя на дорогу. Можно было подумать, что он только что проводил в могилу близкого человека, таким расстроенным выглядело его лицо.

За спиной бригадира умирала работа. Штукатуры лениво выскребали остатки извести, не дребезжала растворомешалка, не журчали колеса тачек.

На дороге показалась бегущая фигура.

— Амельченя!..—удивился Лисенко, когда человек приблизился.—Какая еще беда стряслась?

— Пойдем,—еле выговорил запыхавшийся землекоп,—пойдем скорее.

Он схватил бригадира за рукав и потащил за собой.

— Придя к траншее, которую рыли для водопровода, Лисенко увидел рыжую глину и на ней белые пятна. Землекопы наткнулись на клад. Это была известковая яма, забытая должно быть с прошлого года и засыпанная строительным мусором.

Лисенко помчался к начальству с радостной вестью. Его лицо было попрежнему красным, голубые глаза сузились и повеселели.

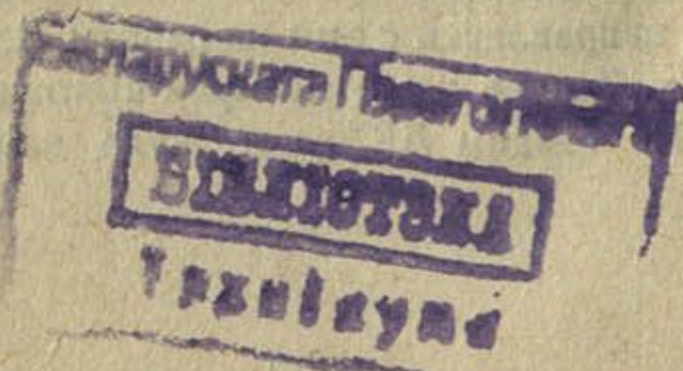
Вскоре подвода привезла первую порцию жирной, как сметана, извести.

Штукатуры с наслаждением брали на кельмы раствор и бросали его на стены. Лисенко отделявал карниз, напевая партизанскую песню. Стройка шуршала, звенела, стучала.

Вечером, проходя мимо щита с показателями соревнования, Лисенко оглянулся, снял побелевший от извести картуз и вежливо сказал черепахе:

— Прощайте.

21664.



ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
А. П. Смирнов—За боевую оборонную литературу	5
А. Шарапов—Прощание друзей	16
А. Шарапов—Песня о командире Лемехе	18
Крючкин—Атака поваров	20
П. Иванович—Баллада о ручье	34
Василий Ардатов—Договор (рассказ)	35
Ф. Синани—О коне	46
Ефим Садовский—Абрам Крейнис из Умани	47
И. Василевский—В вагоне	56
Шпаковский—Засада	57
Ник. Дудин—Боевые знаменосцы	65
Влад. Глазырин—„Огонь“ (отрывок из пьесы)	66
Константин Титов—Баллада об ОКДВА	72
Л. Хохалин—Клад (рассказ)	73

1964 г.

Подготовили к печати: Корректор А. Тумилович. Техредактор И. Белин
Отдел лит. [б. Сдано в типографию 16/III—35 г. Подписано к печати 30/V—35 г.
Ответ. кор. тип. Л. Кучинская. Печатных листов 4^{3/4}. Ул. Главлитбела № В 2519
Зак. № 1324. Тыр. 300 экз.

Типография «ПОЛЕСПЕЧАТЬ», Гомель, Советская,

+

ЦЕНА 1 р. 40 к.

Бел. аддзел
Дукамет.

Бел. аддзел
1994 г.



00000002766248